

18+

НИКОЛАЙ КРАВЦОВ

Опыты ироничного гуманизма

СТАТЬИ И ЭССЕ



Николай Кравцов

**Опыты ироничного
гуманизма. Статьи и эссе**

«Издательские решения»

Кравцов Н.

Опыты ироничного гуманизма. Статьи и эссе / Н. Кравцов —
«Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Право обещает справедливость, образование —
знания, культура — возвышение, а гуманизм — человека в центре мира.
На практике неизменно обнаруживаются нюансы. «Опыты ироничного
гуманизма» — несколько десятилетий наблюдений за идеями, институтами
и людьми. С уважением к человеку. Без излишнего почтения к его
заблуждениям. Сомневаться в человеке ещё не значит перестать быть
гуманистом.

Содержание

Предисловие	6
РАБОТЫ 2000 — 2025 гг.	7
Право и личность: иллюзорность непосредственной связи (2000 г.)	7
Правовое регулирование культуры в России: анализ принципов (2003 г.)	11
Правовое регулирование культуры в России. 23 года спустя. (2026 г.)	21
Права человека. В поисках смысла (2004 г.)	26
Рассуждения о политике и культуре (2004 г.)	31
Диалектика политической моды (2008 г.)	36
Rechtstehre Канта: идеология правового невежества (2008 г.)	39
Постсоветская бюрократия как зазеркалье советской бюрократии (2008 г.)	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Опыты ироничного гуманизма

Статьи и эссе

Николай Кравцов

© Николай Кравцов, 2026

ISBN 978-5-0071-3456-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Автору повезло. Уже несколько лет прошло с тех пор, как он перестал быть частью официальной научной структуры, и теперь может заниматься тем, что ему действительно интересно. В основном, это — художественная литература. Тем не менее, годы, проведённые в ВУЗовской науке, он вспоминает с благодарностью. За то время было написано немало. Монографии давно изданы и легко могут быть отысканы читателем в интернете. А вот «малый жанр» разбросан по журналам и сборникам; кое что и не было опубликовано. Поэтому автор решил собрать лучшее из созданного, под одной обложкой.

Здесь читатель найдёт небольшие сочинения по юриспруденции политологии, эстетике, экономике, педагогике, философии, и те работы, которые трудно отнести только к одной области знаний.

Сочинения расположены в хронологическом порядке, за исключением лишь одной статьи, написанной специально для этого сборника — в продолжение одной из предыдущих статей.

Сборник состоит из двух разделов. В первом собраны работы, которые автор относит к периоду своей зрелости. Во втором — лучшие из ранних работ, которые, несмотря на все их недостатки, могут представлять некоторый интерес. Сборник мог быть и объёмней, но в него принципиально не были включены «проходные» работы — те, которые писались исключительно из формальных соображений — для отчётности, рейтинговых баллов, и прочего.

Поскольку это издание не рассматривается автором как научное, а, скорее — как научно-популярное, из публикуемых работ был изъят весь «схоластический аппарат»: списки литературы и большая часть ссылок и примечаний.

РАБОТЫ 2000 — 2025 гг.

Право и личность: иллюзорность непосредственной связи (2000 г.)

Сочетание «право и личность» давно уже стало в нашей юридической науке вполне привычным, обыденным, даже расхожим. Оно настолько же естественно воспринимается, как и сочетания типа «право и государство», «право и общество» и пр. Между тем, теоретик, если он задумывается о глубинном, а не только об обиходном смысле понятий, если он знаком с историей развития основных правовых конструкций, вправе ставить вопрос о корректности постановки некоторых теоретических вопросов. При внимательном анализе существа проблемы, становится совершенно ясным, что вопрос «в чем состоит связь права и личности?» вторичен по отношению к вопросу «существует ли связь права и личности?». Современные отечественные исследователи с такой лёгкостью приступают к разрешению первого вопроса, что создаётся впечатление, будто второй (а на самом деле — первичный) вопрос им представляется излишним, или же изначально разрешённым в пользу очевидности рассматриваемой связи. Между тем, нам представляется, что этот вопрос ещё нуждается в рассмотрении.

Итак, существует ли непосредственная связь между правом и личностью, является ли личность субъектом права? Если такая связь очевидна, если она естественна, то, по всей видимости, она, так или иначе, должна была представляться ясной теоретикам различных правовых систем, независимо от места и времени «действия». Если же эта связь характерна только для «современного, гуманного и цивилизованного» права, и до её познания правоведы прошлых лет не могли «дорости», а до её воплощения не доходили практические правовые системы прошлого, то сама постановка вопроса должна быть значительно сужена. Скажем, более уместным было бы выражение «современное право и личность». Между тем, наши теоретики ставят вопрос именно в универсальном и вневременном масштабе.

Прежде всего, нам необходимо выяснить, что такое «личность». Ясно, что это не просто биологическая, или социальная единица, не просто подлежащий идентификации участник общественных отношений. Это — более содержательное понятие. «Личность» — это индивид, рассматриваемый с предельной конкретностью, в системе всех своих индивидуальных характеристик, выражаемых им в отношениях, участником которых он является. Это индивид в самовосприятии и в восприятии других индивидов. «Личность» — это пол и возраст, характер и наклонности, воспитание и образование, вкусы и привычки индивида. В этом понятии собрано все: хорошее и дурное, социальное и интимное, разумное и иррациональное. Очевидно, стало быть, что «личность» в ее предельной конкретности не только не совпадает с «субъектом права», с участником правоотношений, но и противостоит им, поскольку они рассматриваются достаточно абстрактно, в необходимом отвлечении от конкретности, которая составляет личность. Попробуем привести пример. Сократ как личность — это древнегреческий философ, предпочитавший устные беседы письменному поучению, изощренный в искусстве диалектического спора, наставлявший учеников в добродетели. Это — старый чудака, который был известен странным образом жизни. Это — сын Софрониска и Фенареты, муж Ксантиппы, отец двоих сыновей. Это учитель знаменитых философов и один из интеллектуальных авторитетов человечества. Детализацию можно было бы и продолжить. Как субъект права Сократ — свободный гражданин Афин, с правом участия в народном собрании, член общины, член дема Алопеки, отец семейства, гоплит, налогоплательщик. В этом качестве он, как мы видим, как раз основательно «обезличен».

В самом деле, могу ли я найти в праве нечто, что я воспринял бы как личное, как условно «мое»? То, что не составляет в действующих нормах моего интереса, то, что противно моим моральным устремлениям и политическим взглядам, очевидно, не может восприниматься как «мое». То, что совпадает с моим интересом в действующем праве, также не может быть мною воспринимаемо, как безусловно личное. Как собственник я могу испытывать удовлетворение от того, что право охраняет мою собственность; как человек воспитанный, я удовлетворен тем, что уголовное право преследует хулиганов, и пр. Однако, все эти предпочтения я испытываю не столько как личность, сколько как «один из...», как член официальной, или неофициальной группировки, как участник определённого круга общения, как один из разделяющих определённые взгляды, или устремления. Выходит, что все, казалось бы, лично интересующее меня в праве, интересует не столько «меня», как личность, сколько «нас» как обезличивающую общность.

Здесь был бы правомерен вопрос: разве право, помимо всего прочего, не защищает моих личных неимущественных прав, которые представляются неоспоримо индивидуальными? Поверхностный взгляд тотчас находит здесь систему ограждения личности как таковой. Но, увы! Что за дело праву до моей личности в её конкретности? Если бы меня звали Федором, Исааком, или Писистратом, разве это хотя бы слегка повлияло на моё «право на имя» и на все, что связано с его защитой? Если бы я был не юристом, а кузнецом, или стеклотудом, разве не те же нормы охраняли бы мою деловую репутацию? Будь я более, или менее порядочен, чем я есть теперь, разве усилились или ослабли бы мои возможности защищать мою честь и моё достоинство, если бы я полагал их ущемлёнными? Наконец, если бы я не был правоспособным лицом, что за дело было бы законодателям и юристам до моей личности? Куда же делся «я» в этом механизме «защиты моей личности»? Все то, что я считаю необходимо моим, все, что составляет меня самого в моих глазах, оказывается для права случайным. Я вновь оказываюсь «одним из...».

На какой бы правовой институт, на какой бы закон я ни обратил взор, я постоянно встречаюсь с абстрактным, которое противостоит конкретности, составляющей мою личность. Здесь возникает другой вопрос: воспринимаю ли я это как недостаток права?

То что далёкому от правовой теории гуманисту может показаться недостатком, на самом деле представляет собой необходимую особенность права. Только с того момента, когда в определённых отношениях люди смогли выделить необходимые абстракции и, пользуясь ими, создать регулятивную систему, как раз и началась подлинная история права. Это произошло позже, чем началась история законодательства. Ранние формы права были присущи народам, не способным ещё отвлечься от конкретного, что во многом определяло несовершенство этих форм. Отсюда, в частности, проистекала забавляющая нас теперь казуистичность многих памятников древнего законодательства. Чем было обусловлено качество римского права, неизмеримо высшее, в сравнении с качеством предшествовавших ему и некоторых следующих за ним правовых систем? Именно тем, что римские юристы оказались способными отвлечься от излишней конкретности и создать понятие персоны. Персона — это не личность, а отвлечение от конкретной личности, ограниченный набор признаков, существенных в определённых отношениях. Это — необходимое «обезличивание», делающее неравное равным и несравнимое — сравнимым. В этом обезличивании мы, такие разные, можем быть измеряемы равной мерой гражданской справедливости. Любопытно само происхождение этого термина. «Persona» — «per sona» — «для звука» — это слово, обозначавшее театральную маску, усиливающую голос актёра. Лицо, стало быть, это маска, которую надевает личность, выходя на сцену права. Под трагической маской может скрываться забавное лицо живого актёра — кутилы и весельчака, однако для зрителей он будет персонажем трагическим; им неважно каков актёр в повседневной жизни, что он ест на завтрак и какое вино предпочитает. Таким же образом для судьи не должно быть существенным то конкретное, что повседневно делает непохожими на других

тех, кто сегодня предстал перед ним в «масках» ответчика или истца, должника или кредитора, продавца или покупателя. Сам будучи личностью, законодатель или судья не может быть беспристрастным по отношению к личностям: он может сохранять беспристрастность лишь к «актёрам в масках» — лицам. Более того, стоит лишь приподнять маску и прощай справедливость! Если, например, под маской ответчика судья видит живое лицо влиятельного работника администрации — горе истцу!

Немаловажна и другая историческая деталь. Греческая цивилизация, подготовившая появление классического западного права и римская цивилизация, подарившая ему жизнь, ещё не разработали развитого философского учения о личности. В древнегреческом и латинском языках даже не было понятий, соответствующих тому, что мы вкладываем в понятие «личность». Мы вправе поставить вопрос: если связь права и личности настолько очевидна, если личность непосредственно может рассматриваться как субъект права, то каким образом поразительно качественная правовая система могла быть порождена цивилизацией, которой понятие личности не было известно? Благодаря, или вопреки этому незнанию было создано совершенное для своего времени и удивительно логичное римское право? Пожалуй, «благодаря». Римлянин, не знавший философского понятия личности, был более способен обратить внимание на отвлечённое безличное, родовое, с чем, в сущности, и имеет дело право. Напротив, современный человек, ценящий личное, наученный опытом экзистенциализма, признающий, что «я — это мои заблуждения» и потому не отрекающийся от иррационального, необходимо находится в состоянии раздвоенности правового сознания. Он не мирится с правовым отвлечением от индивидуальности, поэтому стремится к новому слиянию права и морали и желает увидеть непосредственную связь права и личности.

Многие авторы пытаются выявить эту связь, анализируя защиту прав человека и используя оборот «защита прав личности» как совершенно равнозначный. Что можно сказать по этому поводу? Выше мы говорили, что возможность отвлечения от личного момента есть необходимая особенность правового действия. Однако в системе прав человека это отвлечение переходит обычную меру, ставя на место абстрактного «лица» сверхабстрактного «человека». Именно этот «беспредел абстрактности» всегда являлся основным звеном в рассуждениях всех критиков концепции прав человека от Бентама и Бёрка до Вилле. Если абстрактность субъекта в прочих областях правового действия не позволила нам увидеть в этом субъекте личность, то как мы можем её узреть в данной области, где абстрактность субъекта достигает невероятных пределов?! Высокая степень абстрактности субъекта здесь влечет за собой абстрактность признаваемого за ним права. Конкретная личность становится здесь участником лотереи, в которой должны случайно совпасть конкретность его личного положения, его индивидуальных свойств, с принципиальной возможностью применения предусмотренных прав и свобод. Сколько бы конституции не гарантировали провозглашенных прав и свобод человека, они никогда не смогут гарантировать совпадение индивидуального со сверхабстрактным, которое необходимо для реализации указанных прав. Более того, конкретное положение в котором находится конкретный индивид с его личностными особенностями, могут сделать для него совершенно несущественными провозглашаемые права. Что за дело паралитику до права на труд? Что за дело умирающему от рака до права на жизнь, провозглашение которого мешает врачу проявить сострадание и сократить время мучений? Что за дело «трудоголику» до права на отдых, а неисправимому бродяге до права на жилище? Права человека (по крайней мере, в том виде, в котором они провозглашаются сегодня) — это меньше всего «права личности». Иначе и быть не может, поскольку «человек» и «личность» не рассматриваются как равнозначные понятия.

Итак, не претендуя на возможность полного разрешения обозначенного вопроса в краткой статье, подведем некоторые итоги:

Личность в конкретном смысле этого слова не связана непосредственно с правом. В качестве субъекта права выступает абстрактная личность. Все конкретно-личное выступает для права как случайное, в то время как правовое регулирование, прежде всего, касается устойчивого и обобщённого.

Правовая защита распространяется, следовательно, не напрямую на конкретные личные интересы, а на абстрактные интересы. Сама их защита возникает как правовая проблема только с момента их перехода в коллективно значимый интерес, что позволяет осуществить отвлечение от неправовой конкретности и перейти к неопределенно-личному регулированию.

Отсутствие непосредственной направленности на конкретно-личное является не недостатком права, а его характерной особенностью. С преодоления излишней конкретности начинается история права в подлинном смысле этого слова. Отвлечение от личного обеспечивает объективность правового регулирования и создаёт предпосылки для формулирования правовых критериев справедливого и несправедливого. Учёт личных особенностей возможен уже на стадии конкретного приложения этих критериев.

Вместе с тем чрезмерное абстрагирование не является благоприятным для права, поскольку затрудняет нормальное распространение правовых абстракций на конкретных субъектов права.

Правовое регулирование культуры в России: анализ принципов (2003 г.)

Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества, и, может быть, высший плод, который только может быть.

Ф. М. Достоевский. «Бесы»

Государство есть смертное тело народа, культура — его бессмертная душа. Великие народы прошлого, после гибели своей политической организации существуют для нас в сохранившихся памятниках культуры. Культура, таким образом, есть «конечный продукт» развития любого народа. Поэтому все достижения политической организации это лишь «побочный продукт» производства культурных достижений. В самом деле, соотношение культурного и политического начал в народе совершенно подобно соотношению духовного и телесного начал в человеке. «В здоровом теле — здоровый дух!». Только немногие из народов смогли достичь культурного величия без хорошей политической организации, или политического здоровья без великой культуры. Уровень политической организации находится в пропорции с культурными достижениями. Монументальному и многожанровому искусству Рима соответствует на финальном этапе его истории монументальное же государство, объединяющее множество разнообразных начал. Не зря в эпоху Ренессанса возрождение интереса к культуре Греции и Рима вызвало и возрождение интереса к их политическому наследию. Напротив, цыганский народ, нашедший себя в самых простых и стихийно-непосредственных формах народного искусства — музыке и танце, ограничивший себя достижением высокого совершенства в этих простых жанрах, в своей политической организации также не продвинулся дальше стихийно-непосредственной формы народной организации — табора.

Сознавая действительное соотношение политики и культуры, государственный деятель, если речь идёт о подлинном политике, а не о временщике, преследующем только свои интересы и интересы своего клана, должен действовать таким образом, чтобы служением внести вклад в формирование «конечного» наследия народа, не считая промежуточные политические достижения самоцелью.

Очевидно, что современным лидерам не присуще ясное понимание этих начал, что ведёт к печальным последствиям не только для культуры, но и для политической жизни. Не касаясь, ввиду её очевидности, проблемы влияния низкого культурного уровня нынешних политиков на качество их деятельности, приведём вопиющий пример из современной международной политики.

В позапрошлом году исламские экстремисты, помимо многочисленных преступлений меньшего масштаба совершили два деяния беспрецедентного значения. Я имею в виду уничтожение древних буддистских статуй в Афганистане и разрушение Центра международной торговли в Соединённых Штатах. Второе деяние, связанное с многотысячными человеческими жертвами, разумеется, вызвало большее негодование мировой общественности, чем первое. Как известно, именно катастрофа 11 сентября привела к началу международной антитеррористической операции. Очевидно, однако, что, учитывая, культурно-историческое значение разрушенных талибами памятников, первая из названных акций была во всемирно-историческом плане не менее катастрофической, чем первая. Если бы наши современники действительно понимали значение культурного наследия, они должны были бы отреагировать на разрушение статуй так же горячо, как они отреагировали на события 11 сентября. Мировым лидерам следовало бы понять, что речь идёт о покушении на общее достояние человечества, на оскорбле-

ние всех культурных его представителей. Это был тоже террористический акт, более того — акт агрессии против цивилизованного человечества. Если бы наши вожди осознали это, если бы одно только заявление талибов о намерении совершить это варварство было справедливо воспринято как вызов и справедливый повод к началу антитеррористической операции, сколько бы последующих преступлений безумных фанатиков можно было предотвратить! Если бы был осознана необходимость акции возмездия за уничтожение бесценных памятников, Западу не пришлось бы затем мстить за тысячи невинно убиенных на Манхэттене. Ясно, что уже в первой акции, варварство религиозных фанатиков проявило себя со всей очевидностью, и не было смысла ожидать, пока это варварство обрушит свою силу на тысячи беззащитных людей. Однако от кого мы стали бы требовать осознания этих начал? Не от северо-американских ли государственных мужей, которые вряд ли остановились бы перед тем, чтобы во имя победы над национальной гвардией Ирака подвергнуть серьёзнейшей опасности памятники вавилонской культуры? Да и теперь они молчаливо благословили разграбление багдадского археологического музея и уничтожение беснующейся толпой багдадской библиотеки для снискания популярности оккупационных войск среди подонков иракского общества. Хорош ли этот пример? Как человечество должно относиться к тому факту, что «злостный диктатор» Саддам Хуссейн не одно десятилетие заботливо сохранял культурное достояние народа, а привезённая на танках демократия способствовала его уничтожению за несколько часов? Неудивительно, если, видя подобные подвиги прогрессистов, современная интеллигенция в очередной раз благословит автократию!

Итак, непонимание значения культуры приводит к самым печальным последствиям в политической жизни. Является ли достаточной степень такого понимания в современной России, адекватно ли правовое регулирование российским государством культурной жизни действительному значению культуры для исторической судьбы нашего народа?

Главным документом, на основе которого должно осуществляться такое регулирование, является Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», в который были внесены изменения в 1999 году. Именно в этом акте установлены базовые принципы культурной политики государства. Поэтому мы, прежде всего, должны оценить эти принципы с точки зрения провозглашаемых нами начал.

В преамбуле Закона декларируются исходные принципы, которые в целом следует признать верными, однако, не доходящими до необходимых обобщений. Здесь в первую очередь признаётся «основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства». При том, что данное положение по существу неоспоримо, видно, что эта формулировка не содержит в себе исходного общего принципа признания культуры в качестве духовной основы бытия народа, из которого вытекает все остальное: и сохранение национальной самобытности и утверждение достоинства народа и гуманизация общества.

Впрочем, дальнейшие принципы, несмотря на игнорирование основополагающих начал, формулируются верно: отмечается «неразрывная связь создания и сохранения культурных ценностей, приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета Российской Федерации». Далее выражается «стремление к межнациональному культурному сотрудничеству и интеграции отечественной культуры в мировую культуру».

Как видим, в Преамбуле провозглашаются принципы всеобщего характера, в которых признание значения культуры в жизни личности не приводит к индивидуалистическому искажению универсальных начал. Однако в следующей за Преамбулой 1-й статье эта совершенно верная концепция тут же вступает в противоречия с провозглашаемыми в ней принципами, несомненно, вытекающими из юридического индивидуализма. Статья 1 Закона в качестве задач законодательства о культуре провозглашает:

«обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность;

создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных этнических общностей Российской Федерации;

определение принципов и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности;

определение принципов государственной культурной политики, правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы».

Здесь мы сталкиваемся с попыткой объединить в одном законе универсализм и индивидуализм. Законодатель понимает всеобщее значение культуры как духовного начала в жизни целого народа и это понимание он отражает в Преамбуле. Однако в 1-й статье, он пытается «в соответствии с духом времени» свести проблематику к «правам человека и гражданина».

Не ясно ли, что, признав в Преамбуле великое общенародное значение культуры, законодатель обязан был в связи с этим объявить первейшей задачей законодательства о культуре обеспечение защиты и преумножения культурного достояния нашего многонационального народа во всей его полноте и только затем, и в связи с этим — обеспечение и защиту прав граждан на культурную деятельность? Если мы не защитим уже существующее культурное наследие народа, нам бесполезно защищать право гражданина на культурную деятельность.

Неверное соотношение общего и частного наблюдается и в последующих положениях Закона. После декларации задач, законодатель переходит к раскрытию смысла основных терминов. Уже вторая из дефиниций содержит в себе некоторое недоразумение. «Культурные ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты».

Чрезмерная абстрактность элементов этого определения даёт возможность сведения их к абсурду. Нравственный идеал нацистов — благосуществование «родной» расы вследствие унижения прочих рас. Эстетический идеал писателя Сорокина — живописание фекалий. Из формулировки же Закона (поскольку она не устанавливает необходимых ограничений) вытекает, что эти идеалы также должны быть защищены. Выходит, что я могу написать самый грязный грубо-натуралистический рассказ, в котором главный герой, пользующийся симпатией автора будет, вдобавок, проповедовать массовую резню; я могу провозгласить в этом рассказе ценности, грубо противоречащие всем устоям нравственной жизни моего народа; при этом мой демарш не может быть расценён как покушение на культуру. Любое нареkanie в мой адрес я могу парировать тем, что таковы мои нравственные и эстетические идеалы. И более того: моё творение является культурной ценностью и подлежит правовой защите. Не должен ли был понимать законодатель, что, охранять любые идеалы — значит не охранять никаких!

То же относится к нормам и образцам поведения. Далеко не все они на деле относятся к культурным ценностям. Между тем из определения вытекает, что нормы поведения, принятые, например, в среде уголовников («понятия») или заключённых («тюремные законы») также подлежат защите. Опять же, провозглашая защиту любых норм и образцов поведения, мы не охраняем никаких.

Далее, не вдаваясь в подробности, поскольку наша идея, кажется, должна быть уже ясна, оценим некоторые из других элементов рассматриваемой дефиниции. Законодатель провозглашает культурной ценностью языки. Если при этом не делается уточнение о том, что имеется в виду литературный язык, соответствующий определенным нормам, то приходится сде-

лать вывод о том, что объектом охраны является, например, и вульгарный жаргон, на котором разговаривает «поколение пепси». Законодатель также берет под свою охрану, без уточнения, национальные традиции и обычаи (видимо, включая кровную месть и похищение невесты).

Особую небрежность авторы Закона проявили при выделении такой разновидности культурных ценностей, как «произведения культуры и искусства». Прежде всего, логическая конструкция «культурные ценности — это /.../ произведения культуры» совершенно безобразна с точки зрения формальной логики. И опять же, отсутствие необходимых уточнений приводит к нелепым выводам. Идиотские песенки группы «Руки вверх», любая мазня маляра, считающего себя художником, корявые вирши графомана, не дающего покоя редакциям провинциальных газет — все это оказывается культурной ценностью и объектом правовой защиты.

Крайне неудачно и определение творческого работника: «физическое лицо, которое создаёт или интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно или нет трудовыми соглашениями и является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работников». Согласно этому определению каждый поэт любитель, не могущий жить без своих творений (на уровне «На лугу стоит берёза \ Моя милка лучше всех»), досаждающий их бесконечным чтением знакомым, издающий их мизерным тиражом на серой бумаге, одержимый комплексом «непризнанного гения», должен быть признан «творческим работником» на том только основании, что он создаёт нечто, формально относящееся к культурным ценностям, считает это недоразумение неотъемлемой частью своей жизни и требует признания своей «творческой» активности. Тем более что ст. 4 Закона распространяет область его применения и на самодеятельное (любительское) творчество. В стране, где большинство «звёзд» массовой культуры, собственно, и представляют нам образец хорошо оплачиваемого богатыми родственниками или покровителями самодеятельного творчества, появление подобной нормы вполне естественно. Однако законодатель должен стоять выше протухшей культуры своего времени и ориентировать граждан на более высокие идеалы. Нелепо, что, осмеивая по поводу и без повода мысль Ленина о том, что «каждая кухарка может управлять государством», мы считаем нормальным принятие законодательной концепции, согласно которой каждая кухарка может быть творческим работником. Демократизм в культурном регулировании необходим. Однако, заключаться он должен только в признании права народа на его культурное достояние, в признании высокого значения традиционного народного творчества как животворного истока всей культуры, уважения народа как **коллективного** творца и как интуитивно мудрой публики. Но демократизм, понимаемый как «народоправство», как благословение культурного плебейства, в этой сфере разрушителен.

Перейдем, однако, к следующему положению закона. Мне кажется не совсем корректным и определение культурного наследия народов Российской Федерации — «материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию». Что имеется в виду под «прошлым»? О любом произведении, поскольку оно было закончено, мы можем сказать, что оно было создано в прошлом. Если имеется в виду исключительно далёкое прошлое, это неверно. Когда произведение действительно имеет культурную ценность, оно становится частью культурного наследия народа сразу же после того как становится его достоянием. Очевидно, что упоминание о «прошлом» здесь вовсе не было необходимым. Хотя остальная часть определения по сути хороша. И именно на ней, или на её варианте должен был основываться законодатель. Гораздо проще было, не разделяя прошлого и настоящего, отождествить понятие «культурное наследие» с «культурными ценностями», а последние определить как «материальные и духовные ценности, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности всех народов России, их вклада в мировую цивилизацию,

а также ценности, имеющие значение для культурного наследия всей мировой цивилизации, независимо от того, какой национальной или политической общности принадлежит заслуга их непосредственного создания» (возможны варианты). Таким образом, как раз и был бы достигнут уровень обобщения, не сводимый к абсурду. Исходя из этого определения было бы ясным, что ни нравственные идеалы нацистов, ни эстетические откровения крайних натуралистов, ни нормы жизни уголовной среды, ни варварский язык тинэйджеров, ни обычаи кровной мести, ни любительские стихосплетения не являются культурными ценностями, поскольку для сохранения и развития нашей самобытности, для нашего вклада в мировую культуру, они не имеют никакого значения.

Как видим, всякая попытка свести проблемы культурной политики к индивидуалистическому аспекту чреваты логическими несообразностями, и, напротив, если мы концентрируем внимание на универсальном аспекте, эти несообразности исчезают.

Законодатель же не желает этого осознать и целый раздел Закона, посвящённый правам и свободам человека, составляет в откровенно индивидуалистическом уклоне. Здесь в худших традициях деклараций человеческих прав вновь провозглашаются чрезмерно широкие установки, применение которых на практике чревато всякого рода нелепостями.

В ст. 8 провозглашается неограниченное право на творчество каждого гражданина, а том числе, независимо от его религиозных и политических убеждений. Возникает вопрос: что делать, если творчество гражданина неотделимо от этих убеждений, если в его творчестве мы встретимся с пропагандой насилия, политического экстремизма, религиозного фанатизма с поэзией самоубийства, разрушительного анархизма и пр.? Как совместить провозглашаемую в одном законе свободу творчества с запретом пропаганды определённых идей в другом законе, при том, что пропаганда эта может осуществляться в том числе и творческим путём? Положение осложняется ещё и тем, что ст. 10 Закона предусматривает, что «каждый человек имеет право на свободный выбор нравственных, эстетических и других ценностей, на защиту государством своей культурной самобытности». Стало быть, я могу выбрать своими основными нравственными ценностями разрушение семей и растление юношества; я могу избрать своей основной эстетической ценностью зрелище разлагающейся плоти и моя «культурная самобытность» должна быть защищаема государством!

Необходимое ограничение устанавливается только в 31-й статье основ: «Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций культуры, за исключением случаев, когда такая деятельность ведёт к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии.

Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлён только судом и лишь в случае нарушения законодательства».

При анализе этого ограничения мы сталкиваемся с рядом затруднений. Прежде всего, слишком неопределённой представляется грань, за которой заканчивается простое провозглашение идей и начинается их пропаганда. Что такое, например, «Это я, Эдичка» Лимонова — смакование порнографии, или её пропаганда? Далее. Если бы законодатель устанавливал бы ограничение для случая, когда творческая деятельность *заключается* в пропаганде определённых негативных принципов, его мысль была бы ясна. Но, оказывается, что государство может вмешаться в творчество, если оно ведёт к пропаганде. Что значит — «вести к пропаганде»? Толкование этого выражения может быть самым разнообразным. А это всегда — недостаток работы законодателя. Говорится о том, что ограничения могут применяться только в случае нарушения законодательства. Это, к сожалению, не разрешает целого ряда проблем. Эстрадные идолы, зомбирующие нашу молодёжь, отупляющие её эстетическое чувство, воспитывающие примитивизм в мировосприятии и потрясающую безвкусицу, не нарушают ника-

ких законов. Однако ограничение их духовной власти было бы благодеянием государства, если бы последнее действительно желало уберечь нашу нацию от духовного убожества и нравственной деградации.

Наконец, установленное ограничение откровенно противоречит провозглашённому 10-й статьёй принципу свободного выбора нравственных, эстетических, и других ценностей. Если я свободен выбирать любые ценности, ни о каком запрете на пропаганду речи быть не может. Если же мы признаем, что насилие, расизм, порнография, и прочие «прелести» недопустимы в творческой среде, значит не имеет смысла говорить об абсолютной свободе выбора. Здесь перед нами классический случай противоречия между стремлением к прогрессизму и здравым смыслом законодателя, результатом которого может быть только наполнение закона внутренними противоречиями.

Ст. 9 провозглашает приоритетность прав человека в области культуры по отношению к правам каких бы то ни было общностей. Этот принцип, возможно, справедлив в отношении прав государства и его структур, общественных движений, партий и прочих официальных и партикулярных образований. Но он абсурден, если речь идёт о правах народа или всего цивилизованного человечества. Тем более что сам законодатель пытается придать высокое значение культурному наследию всего народа и признает важность проблемы сохранения и развития самобытности. Права народа как хранителя своего культурного достояния должны здесь быть на первом месте. Не может отдельный гражданин, опираясь на принцип приоритета своих культурных прав, пририсовать к портрету Лопухиной усы, если этого требуют его эстетические пристрастия и представления о творческом самовыражении! Нынешняя власть зачастую не желает этого понимать. Вспомним, было ли учтено мнение российского народа, единодушно протестовавшего против установки в Москве «петропервообразного» колосса? Но в данном случае приоритет был отдан праву на творческое самовыражение г-на Церетели. Подобных примеров можно привести множество, причём не только из постсоветского но и, конечно, и из советского периодов нашей истории. И пока наши взгляды на права человека будут отличаться нынешней прямолинейностью, россиянам стоит быть готовыми к самым невообразимым эстетическим потрясениям.

Любопытно, что сам законодатель проявляет готовность ограничить индивидуальные права в пользу государственного интереса: ст. 12 Закона предусматривает возможность законодательного ограничения доступности культурных ценностей по соображениям секретности либо особого режима. Так почему же, если индивидуалистические ценности возможно отодвинуть на второй план во имя нашего помешанного на секретности государства, это невозможно сделать во имя гораздо более достойной цели — соблюдения культурных прав нашего народа?!

Далее законодатель совершенно логично переходит к правам и свободам народов и иных этнических общностей в области культуры. Российский народ многонационален, следовательно, его целостная культурная идентичность невозможна без сохранения составляющих её элементов. Однако и тут законодатель, в порыве ложно понимаемого прогрессизма, допускает курьёзные положения. Вся прелесть работы законодателя в том и состоит, что он свободен давать гражданам обещания, не будучи обремененным обязанностью их исполнения. Исполняют обещания законодателя и несут ответственность за их неисполнение другие ветви государственной власти. Поэтому обычно законодатель не слишком озабочен вопросом о принципиальной выполнимости обещанного.

В самом начале третьего раздела народам и иным этническим общностям Российской Федерации «гарантируется» право на «защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической среды обитания». Законодателю следовало бы подумать о том, возможна ли реализация этой прогрессистской установки в отношении всех этнических общностей. В России, например, немало ассирийцев, сохраняющих прочные связи друг с другом, традиции и обряды. Ассирийская диаспора в России есть, несомненно, полноправная этническая общ-

ность. Однако для восстановления исконной культурно-исторической среды их обитания нам пришлось бы, прежде всего, завоевать государства, занимающие теперь территорию древнего Междуречья. Остаётся только уповать на то, что ассирийцы не станут требовать этого от России в судебном порядке, справедливо обосновывая свои требования ссылкой на ст. 20 Основ Законодательства о культуре!

Следующий любопытный раздел Основ касается положения творческих работников. В этом разделе, государство берет на себя серьёзные обязательства по созданию для творческих работников условий, совершенно благоприятных для их деятельности. Согласно данному разделу, Россия «стимулирует деятельность творческих работников, направленную на повышение качества жизни народа, сохранение и развитие культуры;

обеспечивает условия труда и занятости творческих работников таким образом, чтобы они имели возможность в желательной для них форме посвятить себя творческой деятельности;

способствует росту спроса со стороны общества и частных лиц на продукцию творчества в целях расширения возможностей творческих работников получать оплачиваемую работу;

совершенствует систему социального обеспечения творческих работников с учетом специфики творческой деятельности;

способствует материальному обеспечению, социальной защите, свободе и независимости творческих работников и педагогов, посвящающих свою деятельность традиционной и народной культуре;

совершенствует систему налогообложения творческих работников с учетом специфики их деятельности;

содействует творческим работникам в расширении международных творческих контактов;

расширяет возможности участия женщин в различных областях культурной деятельности;

реализует положения принятой ООН Декларации прав ребенка, учитывающие специфику ребенка, занимающегося творческой деятельностью;

обеспечивает для творческих работников льготные условия доступа к соответствующим учреждениям образования, библиотекам, музеям, архивам и другим организациям культуры».

Очевидно, впрочем, что подавляющее большинство этих положений совершенно фиктивны. Положение творческих работников, в особенности — в провинции, остаётся удручающе тяжёлым. Если что то и делается для роста спроса со стороны общества на продукцию творчества, то это реализовано только в отношении результатов «творчества» звёзд поп-культуры. Да и это, скорее «заслуга» ловких менеджеров, пользующихся небрежением государства в вопросе роста спроса на произведения академического искусства.

Провозглашение общего положения о правах с последующей его дифференциацией по половому, или возрастному признаку — распространённый демагогический приём почти всех современных деклараций о человеческих правах. В рассматриваемом разделе мы также встречаемся с ярким случаем его использования. Законодатель особо говорит о «расширении возможности участия женщин в различных областях культурной деятельности». Это уточнение выглядит достаточно аппетитно с точки зрения современного прогрессиста, но по существу оно представляется совершенно излишним. Если уже закреплены права творческих работников вообще, то очевидно, что они касаются и женщин. О каком расширении идёт речь? Если в нашей культурной среде имеется дискриминация по половому признаку, то законодателю легче было бы закрепить ясную и недвусмысленную норму о её запрещении. Если дискриминация не имеется в виду, то о чем здесь говорит законодатель? Возможно, его раздражает «сексизм» наших оперных режиссёров, никогда ещё не поручавших женщинам партию Руслана? Или обскурантизм мужских хоров, избегающих включения в свой состав женщин? Если уж

законодатель не довольствуется провозглашением общей нормы, относительно всех творческих работников, а предпочитает рассматривать проблему более подробно, то почему бы ему не продолжить дробления? В конце концов, женщины, в свою очередь делятся на старых и молодых, стройных и полных, и пр. Возможно, законодателю не стоило забывать о том, что эстрадные менеджеры явно отдают предпочтение высоким, стройным и длинноногим блондинкам, в ущерб прочим деятельницам нашей культуры. В этой ситуации явно напрашивается законное положение о «расширении возможностей» полных брюнеток!

В 32-й статье предусматриваются меры по преодолению монополии в области культуры. При том, что сама по себе эта идея весьма благородна, очевидно, что законодатель неверно понимает существо монополий в этой области применительно к современным условиям, сложившимся в нашем отечестве, и, вследствие этого предлагает неэффективные меры борьбы с ними. Согласно указанной статье, «действия органов государственной власти и управления, должностных лиц, препятствующие возникновению новых субъектов культурной деятельности по мотивам нецелесообразности, квалифицируются как осуществление монополии и подпадают под действие антимонопольного законодательства Российской Федерации». В целях же борьбы с монополизмом на государственные органы накладывается обязанность «содействовать созданию альтернативных организаций культуры, предприятий, ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных культурных объединений». Эти положения были бы своевременными в годы советской власти, когда официальные творческие союзы, финансируемые режимом, действительно играли роль организаторов культурной монополии. В настоящее же время механизм образования монополий в области культуры иной. Первый их источник — деятельность конкретных высокопоставленных творческих работников, активно демонстрирующих лояльность власти и приобретающих этим очевидные привилегии. Этот источник главным образом проявляется в сфере академического искусства и кинематографа. В этой же сфере монополизм проистекает из протекционизма, который «классики», неизменно входящие в разного рода жюри и комитеты оказывают своим ученикам и апологетам. Наконец, в сфере поп-культуры также можно выделить два источника образования монополий. Прежде всего, это деятельность неофициальных кланов, образующихся вокруг крупнейших «звёзд» эстрады. Существование этих кланов категорически отрицается, но их активность — «секрет полишинеля». Второй источник — деятельность крупных продюсеров. Последние, за некоторым резервом специфики своей деятельности, в целом, и по целям и по приёмам, не отличаются от прочих крупных предпринимателей. Следовательно, здесь механизм образования монополий совершенно аналогичен механизму их образования в прочих областях бизнеса, и средства борьбы с ним должны быть аналогичными. Очевидно, что предлагаемые законодателем меры никоим образом не затрагивают реальных источников образования монополий в области культуры, поэтому положения 32-й статьи следует считать пустыми и неэффективными. В силу же того, что государство не борется с реальными культурными монополистами, автоматически становится фиктивной и 33-я статья, в которой оно обязуется осуществлять протекционизм «по отношению к юным талантам, творческой молодёжи, дебютантам, начинающим творческим коллективам».

Далее, Российское государство берет на себя ряд обязанностей, выполнение которых, по мнению законодателя будет полезным для развития и сохранения нашей культуры. Прежде всего, провозглашается политика протекционизма в отношении национальных культур (ст. 34). С этой целью применяются ограничительные меры в отношении импорта зарубежных культурных ценностей. Здесь мы вновь встречаемся с недоразумением. Подлинные культурные ценности, приходящие к нам извне, не могут повредить российской культурной идентичности. Сколь многим русская культура прошлого обязана своему знакомству с достижениями иностранного гения! Любые ограничительные меры здесь не только не приносят пользы; напротив, они чрезвычайно вредны для культурного развития любой нации. Если и следует их при-

менять, то как раз к тому, что относится к иностранной поп-культуре. Следует оградить нацию от того, что несёт нам примитивизм мировосприятия и портит художественный вкус. Кто-то остроумно заметил: «наша страна желала подключиться к водопроводу западной культуры, но вместо этого подключилась к канализации». Это положение как раз и должен был постараться исправить наш законодатель. Однако об ограничениях такого рода в законе не сказано ни слова. Вновь, усердствуя в излишнем, законодатель не замечает необходимого!

В следующих статьях перечисляются обязанности государства по сохранению памятников истории и культуры, и по ведению культурной статистики (ст. 35, 36). При том, что сами по себе предлагаемые меры хороши, законодатель, в данном разделе не приходит к провозглашению главнейшей обязанности государства. Никакие меры, предполагаемые в области культурной политики государства не будут приводить к позитивным результатам, пока государство не возьмёт на себя обязанности культурного и эстетического воспитания народа. Лучший способ сохранить культурные ценности — обеспечить спрос на них. Лучший способ преумножить достояние культуры — воспитать у народа уважение к творчеству (в подлинном смысле этого слова). Пока в школы не вернётся качественное преподавание литературы, истории, музыки, и других предметов того же ряда, народ не станет союзником своей культуры. Нынешнее молодое поколение не знает культуры своего народа и, вследствие этого, не может её любить.

Как только не ругали мы советские времена за все перегибы в области культурной политики! Но, как и во многом другом, в этой области, отказываясь от советского наследия, мы вновь выплеснули ребёнка вместе с водой. Ведь были и несомненные достижения! Даже необразованные граждане в довоенные годы неплохо были знакомы с литературой, музыкой и живописью. Поговорите со стариками, и они расскажут вам, какая значительная часть эфирного времени отдавалась советским радио на классическую музыку. В «застойные годы» телевидение гарантировало нам, по крайней мере, один оперный спектакль и три-четыре драматических спектакля в месяц, пару симфонических концертов в неделю, несколько образовательных и художественных программ каждый день. Разве это было плохо?!

Сказанное не следует воспринимать как призыв к установлению запретов и ограничений в худших традициях советской практики. Напротив, мы полагаем, что российскому гражданину должно быть предоставлено право выбора. Но этого-то права у него и нет! Создаётся ощущение, что под запретом оказалась как раз академическая культура. Формально, конечно, наше телевидение предоставляет её потребителям возможность «потреблять», но, положив руку на сердце, способен ли человек интеллигентный потреблять необходимые ему культурные ценности в то время, которое для него отводится? Я могу обожать Малера, но я не в состоянии слушать его Восьмую симфонию в два часа ночи, после напряжённого рабочего дня. Но более благоприятное время подарено представителям поп-культуры. Лучшие часы отдаются тупым бразильским сериалам, в то время как подлинный шедевр — «Твин Пикс» Дэвида Линча нам предлагается смотреть ночью.

Впрочем, все пожелания, высказанные нами выше, будут относиться к сфере чистой фантазии, пока будут сохраняться действующие ныне масштабы финансирования культуры в нашей стране. Статья 45 анализируемого закона рассматривает финансирование культуры в качестве «основной гарантии» её сохранения и развития. Законодатель, конечно, ошибается в построении шкалы ценностей, ибо «основной гарантией» этого может быть только высокая культура самого народа и государственных деятелей, иначе финансирование может быть направлено на сохранение и преумножения не истинных культурных ценностей, а только их видимости. Однако, само признание нашим государством соответствующей обязанности — отличный шаг, могущий дать нам определённые надежды. Но, увы, поводом для оптимизма представляется сам принцип, но не связанные с ним частности. Согласно упомянутой статье, на финансирование культуры ежегодно направляется не менее двух процентов средств республиканского бюджета Федерации. Бюджеты республик в составе Федерации и местные бюджеты

обязаны раскошелиться ежегодно не менее чем на шесть процентов. Если шесть «местных» процентов — вполне достаточная доля, то, норма финансирования культуры, определённая для федерального бюджета кажется нам явно заниженной. Вспомним самые значительные культурные события последних лет. Многие ли из них состоялись благодаря, главным образом, государственному финансированию? Увы, львиную долю необходимых средств предоставили меценаты. Но ведь любой значительный проект всегда связан с опасностью не найти последних. В идеале долю общегосударственного финансирования культуры следовало бы увеличить до семи-восьми процентов. Разумеется, мы понимаем, что в условиях все ещё нестабильной экономики, фактического бюджетного дефицита, тотальной зависимости его от «нефтедолларов», а всей экономики — от иностранной валюты, предлагаемый процент не вполне реален. Однако государство, в особенности — в законах программного характера, должно ориентироваться не только на наличное, но и на должное положение вещей. Можно было бы особо подчеркнуть, что нынешний размер финансирования является временным и подлежащим обязательному повышению пропорционально темпам экономического роста, вплоть до достижения желаемого размера.

В этой статье мы коснулись только основных принципов культурного регулирования, установленных анализируемым законом. Невозможно, да и не нужно в этом контексте анализировать все частности. Однако знакомство с этими частностями все же приводит к одному невольному рассуждению. Конкретные действия по защите культурного достояния нашего народа закон предписывает совершать, главным образом, различным звеньям нашего государственного аппарата. В стране с высоким уровнем культурного развития бюрократии подобную установку можно бы было только приветствовать. Но что она означает в наших условиях? Те самые государственные деятели, которые не умеют правильно говорить на родном языке, которые, прежде всего, озабочены личным благосостоянием, которые недавно пустили культуру и образование в свободное плавание по беспокойным волнам дикого капитализма, которые благословили коммерциализацию образования (печальные последствия чего нам ещё предстоит ощутить во всей полноте в ближайшем будущем), которые не стесняются коррупции и непрофессионализма — вот те государственные мужи, коим предстоит защищать великую культуру нашей страны. Наше государство, сделавшее за последние годы все возможное для уничтожения наших культурных завоеваний, берет культуру под своё покровительство.

Гениальная персидская притча. Маленький мальчик плакал на руках у слуги-негра. «Не бойся, я ведь с тобой», — сказал ему слуга. «Тебя то я и боюсь», — ответил мальчик...

Правовое регулирование культуры в России. 23 года спустя. (2026 г.)

Предыдущая статья оказалась счастливой. Когда я показывал рукопись коллегам, они качали головой и выражали сомнения по поводу того, что она вообще когда-то может быть кем-то напечатана. А мой покойный завкафедрой, человек мудрый, который редко ошибался, готов был спорить об этом на ящик шампанского. Но... Удивительное дело! Статью отважно напечатал журнал «Правоведение»! И без купюр. Удалили только одну фразу, и ту, думаю, справедливо: по стилю она не вполне соответствует духу одного из старейших и самых уважаемых научных журналов. Автор по сей день благодарен редакции за принципиальность и отвагу.

После выхода той статьи не прошло и четверти века. Но, словно прошла эпоха. Больше половины этой эпохи законодатель не думал возвращаться к проблемам регулирования культуры. А жизнь за это время успела показать справедливость большинства моих печальных прогнозов относительно эффективности «Основ законодательства РФ о культуре», с момента появления которых прошло ещё больше времени — 34 года...

Видимо, осознав, что ситуация в сфере культуры не спешит улучшаться, законодатель принялся вносить изменения в Основы. И с рассмотрения наиболее важных из них я начну этот «сиквел».

Увы! — изменения во многом достойны критики. Но сначала рассмотрим «условно хорошие» изменения. В Основых усилена тема независимой оценки качества услуг организациями культуры. И это замечательно.

В предыдущем анализе я ополчился на статью 34, где провозглашается политика протекционизма в отношении национальных культур. Непосредственной мишенью моей критики было положение, согласно которому с этой целью «применяются ограничительные меры в отношении импорта зарубежных культурных ценностей». Я подчеркнул, что, если речь идёт именно о «ценностях», то ограничивать их не стоит. Ограничиваться должен псевдокультурный мусор. И вот — эта дурно сформулированная норма утратила силу. В принципе, это хорошо. Но законодателю следовало не рубить с плеча, а только улучшить формулировки, поскольку сама идея, скверно выраженная в этой норме, была правильна.

Законодатель также справедливо расширил указания на права инвалидов. Но многие другие положения социального характера были удалены. Так, абзац статьи 27, в котором речь шла о совершенствовании системы социального обеспечения творческих работников с учётом специфики творческой деятельности, утратил силу.

Подобная судьба постигла и абзац той же статьи, предполагавший совершенствование системы налогообложения творческих работников с учётом специфики их деятельности.

Не пожалел законодатель и абзац, в котором констатировалось, что государство «обеспечивает для творческих работников льготные условия доступа к соответствующим учреждениям образования, библиотекам, музеям, архивам и другим организациям культуры». О причинах исчезновения из Основ этих, объективно разумных положений, можно только догадываться...

Государство в лице законодателя «открестилось» также от части обязанностей по сохранению памятников истории и культуры, и по ведению культурной статистики (ст. 35, 36).

Далее, законодатель решил избавиться от норм, касающихся тонких и болезненных вопросов. Ради этого были отменены статья 43, посвященная собственности в области культуры. А также — статья 45, о финансировании культуры. Хорошо ли это? Очевидно, нет!

В предыдущей статье я уделил немалое внимание статье 32, в которой предусматривались меры по преодолению монополии в области культуры. Критика касалась непонимания законодателем механизма возникновения монополий в этой сфере. При этом я отнюдь не считал и

не считаю, что с этими монополиями не нужно бороться. Напротив! И вот, статья, которая, при всех её недостатках, хотя бы официально констатировала наличие в нашей стране этой проблемы — теперь так же официально утратила силу. И снова непонятно, что на это подвигло законодателя. Считает ли он, что проблема решена? Или что решить её не представляется возможным? Бог весть...

На этом оставим в покое «Основы законодательства РФ о культуре». Ибо нам были подарены ещё одни Основы — «Основы государственной культурной политики». Они были утверждены указом Президента от 24 декабря 2014 г. N 808.

Введение к этому акту содержит весьма многообещающие декларации, о которых можно сказать, что теоретически они верны, однако нет ни малейшего повода заключить, что за прошедшие годы они нашли практическое воплощение.

Законодатель провозглашает: «Единение науки, образования и искусства закладывает основу для понимания общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности». Где это единение в реальности? Образование всё больше приближается к элементарным азам знаний. Чтение научных трудов не стимулируется. Отставание образования от новейших достижений науки всё более очевидно. «Свежие» научные работы почти не переводятся на русский язык. Формализм в оценке и курсовых и дипломных работ, и даже кандидатских диссертаций очевиден. Образовательная программа в школах всё меньше включает в себя информацию об искусстве. Всё меньше школьников посещает музыкальные и прочие творческие школы...

Далее в том же разделе говорится: «Принимая настоящие Основы, государство впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России». Что в реальности? Сама доля бюджетных расходов на культуру — по-прежнему слишком мала для «национального приоритета» и «важнейшего фактора». Если рассматривать средний культурный уровень населения, то за годы, прошедшие со времени принятия Основ, наблюдается, скорее, его снижение. А что делается для повышения? Может быть, изменилась политика федеральных телеканалов? Нет. По-прежнему культурный блок сконцентрирован на канале «Культура». На прочих — «попса», дешёвые юмористические шоу, скандальные ток-шоу. По-прежнему — речь ведущих телепрограмм далека от эталонов русского языка. Что происходит в искусстве? Как и раньше, деятели академического искусства имеют доходы, тысячекратно уступающие доходам персон шоу-бизнеса. Да и звания «заслуженных» и «народных» они получают с гораздо большим трудом. Государство вообще не собирается проводить ценностный водораздел между высоким искусством и поп-культурой. В нынешнем лексиконе и серьёзный романист и писатель мотивационных брошюр, и композитор-симфонист и самый примитивный рэпер — все они охватываются понятием «творческая интеллигенция»...

Во втором разделе законодатель констатирует недостаточность вложения в культуру в недавнем прошлом, создавшую угрозу гуманитарного кризиса и перечисляет наиболее опасные для будущего России проявления этого кризиса:

«снижение интеллектуального и культурного уровня общества;

девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров;

рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения;

деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России;

атомизация общества — разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, пренебрежения правами других».

Перечисленные проявления выявлены правильно. Не поспоришь. Смущает другое. Не говорится о сложной совокупности причин, их породивших. Получается, всё дело в «недостатке вложений». И ни политика масс-медиа, ни образовательные реформы, ни построение общественной системы, в которой материальное превалирует над духовным, ни многое другое здесь не при чём. Всё просто: увеличить вложения! Законодатель не понимает, что при нынешних нравственных и экономических устоях, которые, собственно, и создают кризис культуры, любые вложения будут вложениями в эти устои и, соответственно — в углубление кризиса!

В разделе «Общие положения» законодатель даёт знаменательное определение: «культурная политика» — действия, осуществляемые органами государственной власти Российской Федерации и общественными институтами, направленные на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности граждан России и формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». В предыдущей статье мы уже выражали свой пессимизм по поводу того, что, согласно законодательству, оказывается поддержка ВСЕМ творческим проявлениям граждан, что автоматически означает поддержку дилетантизма, псевдотворчества и графоманства. И, спустя годы, законодатель вновь обещает нам поддерживать ВСЕ виды творческой деятельности... Что, собственно, и делает. В ущерб настоящей творческой деятельности.

Один из следующих разделов посвящён задачам государственной культурной политики. Здесь мы опять сталкиваемся с очень «вкусными» и многообещающими декларациями, которые, как можно судить спустя годы после принятия этого акта, весьма далеки от реальности.

Законодатель провозглашает: «Практическая реализация приоритета права общества на сохранение материального и нематериального культурного наследия перед имущественными интересами физических и юридических лиц». Стало быть, снос старинного архитектурного фонда ради предоставления фирмам-застройщикам возможности возводить на освобождённых площадках многоэтажки — практика, реализующая этот принцип? Возведение уродливых скульптур по бездарным проектам, необъяснимым образом победивших в конкурсах — тоже? Как и многое другое!..

Упомянутое уничтожение исторического облика старых городов, видимо, вполне «соответствует» и следующей аппетитной декларации: «Повышение эстетической ценности архитектурной среды российских городов, государственная поддержка архитектурного творчества, признание архитектуры социально значимым видом искусства». И возведение в центральных кварталах сооружений, эстетическая ценность которых сомнительна даже для спальных окраинских районов — тоже?!

Следующее интересное положение. Законодатель совершенно правильно предполагает «переход на качественные критерии при оценке эффективности деятельности организаций культуры». Однако, я прошу читателя это положение запомнить, с тем, чтобы чуть позже увидеть, насколько оно противоречит тем критериям, которые позже были введены в «Стратегии государственной культурной политики»!

Обращают на себя внимание и положения, посвящённые гуманитарным наукам:

«Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности.

Проведение необходимых фундаментальных и прикладных исследований в сфере гуманитарных наук.

Повышение качества подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере гуманитарных наук».

Реальность иная. Приоритетное финансирование получают, напротив, разработки в области технологий. Гуманитарная наука по-прежнему не преодолела состояния, при котором

защита диссертационного исследования возможна без его реальной новизны и практической ценности. В системе, в которой проверка исследования на уровне «сошлась, или не сошлась формула? подтверждены ли данные экспериментально?» невозможно, критерии научной ценности разработок остаются формальными и конвенциональными.

Следующие два законодательных требования похвальны. Но подробный анализ уровня их практического воплощения мы опустим, ввиду очевидности ситуации.

«Повышение качества владения гражданами России русским языком». Просто почитайте несколько случайных текстов на литературных порталах, несколько статей из интернета и комментариев к ним!..

«Повышение этической и эстетической ценности, профессионального уровня распространяемых государственными теле- и радиовещателями программ и продуктов». Просто включите телевизор или радио!..

Наконец, важное обстоятельство. «Основы...» вступили в действие без малого через год после событий на Майдане, значительно изменивших положение вещей в стране и мире — и в политическом, и в экономическом, и в культурном плане. Вступивший в действие документ учитывал эти изменения лишь в незначительной степени, что во многом обусловило несоответствие деклараций и благих пожеланий сложившейся реальности.

Сказанное ещё в большей степени касается следующего нормативного акта, принятого через два года после «Основ...». «Стратегия государственной культурной политики» от 29 февраля 2016 г. Как ни странно, документ не только проигнорировал двухлетние негативные тенденции, о которых мы говорили в предыдущем абзаце. Его создатели даже не допускали мысли о том, что дальнейшее развитие событий может миновать оптимистический вариант. Поэтому они с завидной лёгкостью начертали перспективы развития до 2030 года. Теперь, после событий, начавшихся в 2022 году понятно, насколько легкомысленной и формальной акцией было принятие «Стратегии...». Само по себе это избавляет нас от необходимости анализировать документ подробно. Нет смысла переоценивать творчество законодателя, который рисует перспективы на четверть века вперёд, не видя реалий своего времени и перспектив ближайших лет.

Ограничимся лишь несколькими любопытными деталями.

Авторы «Стратегии...», как и в предыдущем документе, предполагают «продвижение культуры как стратегического национального приоритета». Не станем долго рассуждать об очевидной демагогичности этого положения, ибо степень истинной «приоритетности» культуры в нашей стране мы уже обсуждали выше.

Любопытная особенность данного законодательного акта — удивительная бессистемность внутри разделов, когда отдельные пункты логически не связаны друг с другом и касаются совершенно разной проблематики. Отмеченное касается почти всего текста. Для примера предлагаю читателю оценить с этой точки зрения относительно небольшую выдержку:

«реализация ценностно ориентированной государственной культурной политики, предусматривающей распространение традиционных для российского общества ценностей;

стимулирование создания институтов развития в сфере культуры;

существенное увеличение доли внебюджетных инвестиций в совокупных расходах на культуру, в том числе посредством государственно-частного партнёрства, а также стимулирование благотворительной деятельности, меценатства и иных альтернативных механизмов финансирования культуры;

содействие развитию культурной индустрии;

гармоничное сочетание интересов национальной безопасности, единства культурного пространства и этнокультурного многообразия страны;

создание системы мониторинга и системы качественных и количественных показателей».

Предыдущий законодательный акт, напоминая, обещал переход на качественные критерии оценки. Что же мы видим здесь? Цитирую:

«Достижение целей, задач и приоритетов Стратегии оценивается следующими целевыми показателями:

доля расходов на культуру в валовом внутреннем продукте (в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации);

объем средств на культуру из внебюджетных источников;

соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике;

уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;

увеличение количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре;

увеличение доли русских школ (классов) за рубежом, получивших адресную поддержку (включая поставку учебно-методических материалов на разных носителях), в общем количестве русских школ (классов) за рубежом;

прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры;

обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам);

степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным показателям информационного развития;

степень дифференциации субъектов Российской Федерации по показателю расходов на культуру и искусство в расчете на душу населения;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет;

доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания общероссийских обязательных общедоступных каналов».

И в том же духе... Где здесь, позвольте, качественные критерии? Напротив — непаханое поле для «эффективных менеджеров», для которых могут быть с этими целями созданы должности и целые структуры. Эти замечательные менеждеры, дай им волю, загрузят организации культуры и прочих её субъектов отчётностью так, что им уже будет не до творчества. Как это уже и произошло ранее в образовании, науке, медицине и прочих сферах.

Одним словом, в очередной раз законодатель предлагает нам нечто странное и сомнительно полезное в качестве спасательного круга для отечественной культуры. Но, дело даже не в этом...

Главное. Наша страна дважды переживала невиданный подъём культуры: во второй половине девятнадцатого века и во второй половине двадцатого. Вы удивитесь, но оба раза этому не предшествовало принятие каких-либо «Основ...» или «Стратегий...»! Может, дело вовсе не в законодательстве? Вместо того, чтобы принимать тяжеловесно-пафосные документы, не лучше ли просто остановить происходящее «благодаря» маниакальному менеджериству и тотальной коммерциализации, разрушение механизма воспроизводства интеллигенции? Не «как бы научной» или «как бы творческой» — но подлинной интеллигенции! А уж она сама разберётся с тем, что и как нужно сделать для возрождения и сохранения родной культуры... Безо всяких громких «концепций», «основ» и «стратегий».

Права человека. В поисках смысла (2004 г.)

В последние годы проблема прав человека из достояния исключительно правозащитников и некоторых юристов-практиков становится достоянием теоретиков права. Ей посвящаются и относительно небольшие разделы учебников, и целые учебники, и объёмные монографии. Следует ли нам приветствовать обращение наших коллег к этой проблеме? Прежде всего, мы полагаем, что теоретическая наука вправе обращаться только к тем конструкциям, которым принципиально может быть дано научное обоснование.

В чем может состоять принципиальное обоснование концепции «прав человека»? На этот вопрос можно дать разные варианты ответа.

Первый вариант: права человека являются естественными, то есть источником их выступает сама природа, или, по крайней мере — природа человеческая. Именно это обоснование концепции прав человека было исторически первым. Рассмотрим эту позицию на примере, допустим, «права на жизнь». Итак, мы предполагаем, что сама природа даёт нам это право. Возможны ли рациональные доказательства этого тезиса? Отвечая на последний вопрос, мы сразу сталкиваемся со значительными затруднениями. Прежде всего, если современная наука достигла значительного прогресса в изучении отдельных природных явлений, то природа в её целостности для нас такая же загадка, как и для древних. Её происхождение, цель, сам смысл существования «всего» — объяснимы только на гипотетическом уровне. Каким же образом, не зная, по существу, что есть природа, как целостное явление, каково место в ней человека, мы могли бы утверждать, что сама природа освящает наше «право на жизнь»? Наблюдение за природным аспектом нашего бытия, скорее, может привести нас к обратным заключениям. Размножение человека — процесс гораздо более сложный, чем размножение большинства других видов. Человек — одно из самых беспомощных и слабо вооружённых созданий природы. Его организм подвержен опасности множества болезней, а сама смерть — естественный, природный процесс. Похоже, что природа слишком безразлично относится к нашей смерти, чтобы рассматриваться как источник «права на жизнь».

Далее. В словосочетании «право на жизнь» мы сталкиваемся сразу с двумя загадками. Распространяться о том, что у нас нет согласия по поводу смысла слова «право» было бы излишним. Но не меньше разночтений в употреблении слова «жизнь». В самом деле, в каком смысле мы употребляем его, когда говорим о «праве на жизнь»? Широкое, многоплановое употребление этого термина ничуть не проясняет ситуации, ибо здесь мы никогда не придём к согласию. Остаётся ограничиться самым узким, чисто физиологическим его толкованием. С этой точки зрения жить — значить появиться на свет, принять участие в обмене веществ с окружающей средой, и умереть. Но, когда мы говорим о праве, такое толкование, опять же, приводит нас в тупик. Любой убийца может сказать, что тот, кто пал его жертвой, родился, участвовал в обмене веществ и умер, иными словами — он жил, и право его не было нарушено. Чтобы выйти из тупика, нам придётся добавить, что право на жизнь, видимо, предполагает возможность прожить в течение максимального времени, отпущенного природой для данного индивида, исходя из особенностей его органической конституции. Таким образом, насильственное умерщвление неправомерно. Однако наш убийца совершенно справедливо заметил бы, что определить возможную продолжительность жизни нереально, не только исходя из телесной организации, но и учитывая возможность несчастного случая.

Ясно, что узкое понимание слова «жизнь» ничего не проясняет. Нам все же придётся его расширять, перейдя от природы в смысле целостности мироздания к «природе человека». Мы могли бы добавить, что, когда мы говорим о человеке, его жизнь предполагает сознание, мысль, чувство, и прочее, что отличает нас от примитивных организмов. Убивая человека, мы убиваем его мысль, волю, надежду, и с точки зрения разумной природы человека это неправомерно.

Но и тут убийца вправе сказать нам: «Хорошо! Тогда предоставьте мне свободу действий в отношении идиотов, младенцев, находящихся в коме, и прочих, чья жизнь не соответствует этому вашему расширенному определению!». На его вопрос, на каком основании, понимая жизнь как сознательное, интеллектуальное существование, мы защищаем право на жизнь упомянутых лиц, нам вновь пришлось бы ответить, что должно быть защищено также и существование только в биологическом смысле этого слова. Но после этого ответа круг бы замкнулся на предыдущих затруднениях. Вдобавок, здесь к нашему разговору мог бы присоединиться представитель любого рода «живущих не только по плоти, но также и по духу». Он заявил бы, что одного только существования, и даже только сознательного существования мало. Когда мы говорим о праве на жизнь, сказал бы он, мы имеем в виду жизнь достойную. Эмоционально и нравственно согласившись с ним, мы могли бы, однако спросить, можно ли рассматривать в качестве источника такого права природу? Нам бы пришлось напомнить ему, что природа создала наших предков волосатыми, грязными и невежественными, что образ жизни первых людей в природе (NB!) был далёк от того, что мы называем «достойной жизнью». Все, что мы вкладываем в это понятие, мы завоевали как раз в многовековой борьбе с природой. Так можно ли говорить о естественном праве там, где имеет место как раз «борьба с природой за право»? «Живущий по духу» справедливо добавил бы, что жизнь должна предполагать возможность реализации некоторых внутренних ценностей. Если художник потеряет возможность писать картины, писатель — создавать романы, а скрипач — играть на скрипке, их жизнь потеряет смысл. Из этого мы должны бы были сделать вывод, что защита права на жизнь бессмысленна без защиты того, что составляет для духовно развитого человека смысл его бытия. Вместе с правом на жизнь мы должны защищать и прочие права: культурные, социальные и экономические. Но, опять же, причём тут природа? Скрипка, без которой жизнь скрипача утрачивает смысл, не создана природой, она — продукт нашего вмешательства в природу. Естественное основание вновь становится зыбким. Но ведь сама природа создала скрипача таким, что он не может прожить без своего искусства, скажем мы, пытаясь вновь обрести твёрдую почву под ногами. Однако наш собеседник-убийца в ответ может заявить, что и его сама природа создала со склонностью к умерщвлению себе подобных, что без этого его жизнь бессмысленна, и его право делать то, в чем он видит смысл своего существования также должно быть защищено; из права на жизнь в широком смысле этого слова (а узкий смысл нам также не предоставил никакого надёжного обоснования) должно вытекать право на убийство для лиц, имеющих к нему склонность. Круг вновь замкнулся.

Ситуация осложняется ещё и тем, что мы говорим не просто о «праве на жизнь», но о «праве человека на жизнь». Добавляется третья загадка — Человек! Если мы даже принимаем естественность права на жизнь, как аксиому (а ничего другого нам не остаётся, поскольку попытки рациональных доказательств каждый раз приводят нас к абсурду), то и это не упрощает задачу. В своё время Аристотель с неподражаемым изяществом доказал, что варвары — рабы по природе, что раб — не вполне человек. Расисты могут нам сказать, что людьми являются представители не всех наций. Человек нравственный вполне справедливо восстаёт против подобного рода теорий, однако, может ли он их рационально опровергнуть? Нет, ибо, как мы уже выяснили, относительно человеческой природы и места человека в мироздании у нас нет никаких представлений, кроме гипотетических. К тому же, даже гуманист, если он не придерживается доктрины непротивления, а в своём противостоянии мировому злу, желает быть решительным, может добавить, что поскольку доброе отношение к ближнему есть непрерывная составляющая человеческой природы, убийца, насильник, и прочие подобного рода субъекты, собственно говоря, людьми не являются, и не заслуживают нашего снисхождения.

Другой вариант обоснования прав человека — обращение к юридическому априоризму. Возможно, подобно тому как это сделал в своём нравственном и правовом учении Кант, объявить базовые ценностные конструкции доопытными, априорными. Насколько была бы про-

дуктивной попытка вывести права человека из «чистого разума», даже если бы соответствующее обоснование было проведено на высочайшем мыслительном уровне? Прежде всего, априоризм — это «палка о двух концах»: мыслитель, которому присуща высокая техника обоснования, может достаточно убедительно заявить об априорности ценностей, противоположных тем, из которых выводится концепция прав человека. Представьте себе Гитлера, наделённого интеллектом Канта, но сохранившего свои «национальные предрассудки», и опасность ситуации станет для вас очевидной! Даже если за дело возьмётся искренний гуманист, его власть над умами не сможет быть беспредельной, поскольку любой априоризм ограничен в своих возможностях. Нам может показаться убедительной демонстрация априорности некоторых гуманистических принципов, но в нашем случае, поскольку речь идёт о проблеме практической, из этих принципов необходимым будет выведение конкретных положений правового характера, а здесь уже движение мысли совершенно не предсказуемо. Пример того же Канта, который из самых возвышенных либеральных оснований вывел вполне тоталитарные начала практической политики, уже может нас насторожить. Даже если мыслительное движение от априорных принципов к принципам практическим можно будет осуществить, не утратив гуманистического заряда, то и такой вариант обоснования далеко не все найдут безупречным. Теоретик-материалист никогда не признает надёжным такое обоснование концепции прав человека, хотя бы потому, что к априоризму у него найдутся претензии чисто методологического порядка.

Можно, конечно, упростить ситуацию и от априоризма перейти к простой аксиоматике. Можно предложить, без особых премудростей, считать права человека очевидностью, не подлежащей доказыванию. Но такого рода «обоснование» концепции — это интеллектуальная капитуляция. В нравственной, или правовой среде «очевидность» — признание бессилия учёного, ведь, по существу в этих сферах нет, и не может быть ничего очевидного. Аксиоматика, пригодная для геометрии, здесь разрушительна. Любой здравомыслящий человек вправе будет задать вопрос: отчего же для всеобщего признания этой очевидности нам понадобилось несколько тысячелетий, притом, что и теперь находятся сомневающиеся; в то время как те же геометрические аксиомы были признаны очевидными ещё до Сократа? Сама история человечества доказывает нам, что принципы, из которых выводится концепция прав человека не очевидны, не априорны, не доопытны: для того, чтобы начать их формулировать, человечеству понадобился именно многовековой эмпирический опыт чудовищной жестокости.

Может быть, в нашей попытке обоснования прав человека нам как раз стоит перейти от рационалистического метода к эмпирическому? Но, увы! В сфере политико-правовой и отдельные люди, и целые народы способны делать различные выводы из исторического и личного опыта. Одного жизнь убедила в том, что судьба способна вознаграждать нас за доброе отношение к ближнему, другой сожалеет о сделанных благодеяниях. Европейцы эмпирически убеждены в том, что провозглашение либеральных ценностей сделало их жизнь достойнее. Россияне же имеют эмпирический опыт иного порядка: каждая попытка либерализации общественной жизни приводила их к невероятному разброду и экономическим катастрофам. Права человека мы хотим обосновать как общечеловеческую ценность, но это невозможно сделать эмпирически хотя бы потому, что здесь эмпирический опыт здесь не носит общечеловеческого характера. Снова мы оказываемся в тупике!

Другой из возможных серьёзных вариантов обоснования прав человека состоит в том, чтобы рассматривать их как результат общественного дискурса, как универсальные положения консенсуального характера, как результат выражения «чаяний большинства».

Так автор теории «делиберативной демократии» Юрген Хабермас считает право (в широком смысле этого слова) совокупностью устойчивых норм поведения, стабилизирующих взаимные социальные ожидания; причём право черпает свою силу из общественного консенсуса на основе свободного дискурса. Кажется, что этот источник обязательственной силы права вообще мы можем распространить и на права человека. Однако, приглядевшись внимательнее

к этой теории, мы и в ней не увидим надёжного обоснования. Как и все неокантианцы, Хабермас предпочитает говорить не о сущем, не о явлении, а о том, что относится к идее, которой только предстоит раскрыться в явлении. Свободный дискурс, который только и может привести к правообразующему общественному консенсусу, предстаёт у него как идеальная модель: он обусловлен высокой политической культурой народа, без которой он не имеет смысла; он обусловлен высокой степенью коллективизации разума; и вместе с тем он обусловлен высокой рациональностью коллективного обсуждения социально значимых проблем. Очевидно, что все эти установки относятся к сфере желаемого, они явно предполагают будущее положение вещей, и не могут явиться теперь обоснованием концепции прав человека, поскольку мы имеем в виду проблему её нынешней обоснованности, а не возможность нахождения для неё апостериорного обоснования в неопределённом будущем.

Лидер брюссельских логиков права Хаим Перельман видит возможность обоснования прав человека только через общественный дискурс, участие в котором предстаёт перед нами как внутренний долг, вытекающий из разумной природы человека. Однако и эта теория касается желаемого, а не наличного положения вещей. Что же до нынешнего обоснования концепции прав человека, то очевидно, что она ещё никогда не была предметом универсального свободного дискурса. Если этот дискурс и происходит в более узких рамках, то происходит он скорее на эмоциональном, а не на рациональном уровне, что не может в принципе предоставить надежных оснований для какой либо концепции. Трудно представить себе этот универсальный дискурс и в будущем. Сторонники подобных теорий рационального «консенсуса цивилизованного человечества», не желают замечать, что человечество это неоднородно, что в исходных нравственных, политических и религиозных установках имеются столь радикальные различия, что нет возможности не то, что довести универсальный дискурс до его логического конца, но даже и начать его. Наконец лежащий в основе всех подобных теорий «демократический рационализм», в конечном счете, предполагает признание истинным (хотя и с возможностью последующей корректировки) решения большинства, по существу подменяя необходимое качественное обоснование количественным. При этом остаётся неясным, что мы будем делать, если вдруг, вопреки ожиданиям своих оптимистически настроенных пророков, «цивилизованное человечество» в результате свободного рационального дискурса заключит о допустимости насилия и единственно верным общественным принципом признает плавтовское «человек человеку — волк»? И что будет рациональным основанием дискурса? О трудностях связанных с рационализацией концепции прав человека мы говорили выше. Исходя из чего мы можем предполагать, что одна только коллективность решения проблемы устранил эти трудности?

Последняя из оставшихся возможностей обоснования концепции прав человека — её религиозное обоснование. Однако оно кажется нам наименее надёжным из всех. Прежде всего, эта концепция предполагает провозглашение человека высшей ценностью, с чем вряд ли согласна какая либо из великих религий. Вдобавок, для надёжного обоснования прав человека с этой позиции предварительно необходимо разрешить извечный вопрос о том, какая из религий, собственно является единственно истинной, что в принципе невозможно, тем более — в рамках теоретико-правового дискурса.

Таким образом, нам представляется, что нет той методологической, или идеологической среды, которая могла бы нам предоставить твёрдое основание для концепции прав человека, равно как и обосновать по существу сами эти «права». Поскольку, повторяем, по нашему мнению, невозможно включать в предмет теоретической науки ничего, принципиально не подлежащего обоснованию, нам кажется, что «права человека» не должны быть объектом изучения теоретиков права.

Юридизация этого понятия и введение его в предмет современной теории права, на наш взгляд является недоразумением. Каково же истинное место «прав человека» в системе наших знаний? Представляется, что они не имеют отношения к теории права. Проблема так называ-

емых «прав человека» — это практическая проблема приложения нравственных требований (которые прилагаются к любой сфере человеческой деятельности) к правовой и политической практике; проблема, повторим чисто практическая, которой в своё время ошибочно была придана теоретико-юридическая форма. Обоснование этих требований, которым мы ложно придали форму субъективных прав, и демонстрация необходимости приложения их к социально значимому действию относится к области этики, нравственной философии, но не к философии права, или, тем более, к теории права. Поскольку же на настоящий день фактически сложились квазигирические институты защиты этих предполагаемых «прав», представляется практически целесообразным анализировать связанные с этим проблемы, но, опять же — не в рамках теоретического правоведения, а в рамках «прикладной» юриспруденции.

Автор этих строк надеется, что читатель не усмотрит здесь проявления антигуманизма. Нашей задачей было продемонстрировать безнадёжность попыток придать научную форму тому, что, скорее, принадлежит сфере нравственного чувства. Объявление недоказуемого научным фактом — чистый догматизм, а это — тот сон разума, который порождает чудовищ. И не следует обольщаться гуманностью исходных посылок. После того, как средневековая наука вывела из учения Христа систему «научных» положений, неизбежным стало явление Торквемады. Новая попытка превратить чаяния сердец человеческих в точную науку — опаснейшее из искушений нашего времени, от которого мы хотели бы предостеречь наших коллег.

Рассуждения о политике и культуре (2004 г.)

1.

После исчезновения государственной организации народ может иметь только одну форму самоидентификации: культуру — язык, национальные традиции, национальная одежда, и пр. Поскольку государство всегда возникает в рамках народности, поскольку народ в процессе создания государства уже самоидентифицирован, возможно предположить только одно: самоидентификация народа через его культуру есть изначальная и естественная форма народного объединения. Возможно сохранить народность, утратив государственность, но совершенно невозможно сохранить её, утратив национальную культуру. Если кризис государственности не обязательно влечёт за собой упадок национальной культуры, то упадок последней (в широком значении слова «культура») как правило, ведёт к упадку государственности и экономики. При этом вопрос о первичности экономики, или культуры — вопрос пустой. Он настолько же бессмысленен, как и вопрос о соотношении пищеварения и разума в человеческом теле. Можно сказать, что народ имеет ту культуру, которую он экономически может себе позволить. Это верно только в определённом отношении. Действительно, народ, который не имеет экономической возможности для строительства оперного театра, содержания оркестра и труппы, вряд ли способен породить что-либо значительное в области оперного искусства. Но в определённом смысле культурный потенциал народа всегда сохраняет независимость от его экономического потенциала. Чистые расходы на создание «Дон Кихота» невелики: несколько пачек бумаги, бутылка чернил и время. Это значит, что экономически любая, даже самая нищая нация может позволить себе «Дон Кихота». Вопрос, однако, в том, способна ли она породить Сервантеса? «Одиссея», передававшаяся устно, вовсе бесплатна, но как определить стоимость рождения Гомера? Можно возразить, что наличие у Сервантеса свободного от производительного труда времени обусловлено экономическим состоянием общества. Однако дело заключается, главным образом, в том, как сам Сервантес предпочёл воспользоваться досугом. История свидетельствует о том, что подавляющее большинство тех, кому экономическая организация общества предоставила комфорт и досуг, не сделало ничего для обогащения культурного наследия народа. С другой стороны, известны многочисленные примеры того, как ремесленники создавали великие культурные памятники: Экхарт, Сакс, и др. То есть, вопрос сводится к тому, способна ли нация породить представителей, нравственно готовых к тому, чтобы использовать своё свободное время для обогащения её культурного наследия? С другой стороны, можно сказать, что нация порождает ту экономику, на которую она культурно и нравственно способна. Шведская форма капитализма, отличная от нашей дикой формы, определяется культурным и нравственным различием наших народов. Дело не только в том, какую степень эксплуатации ближнего даёт возможность допустить экономическая система, но и в том, какую степень может нравственно допустить себе эксплуататор, и до какой степени самоужождения позволит себе дойти эксплуатируемый, исходя из сложившихся культурно-нравственных устоев общества.

2.

Исчезнувшие нации продолжают реально существовать для нас только в памятниках своей культуры. Цивилизация, не оставившая культурного наследия — не более чем факт хронологического и географического порядка. Можно сказать, что погибшая цивилизация живёт в свидетельствах историков. Однако исторические свидетельства — это само по себе явление культурного порядка. Исчезнувшая цивилизация становится страницей в книге, относящейся к иной культуре. Величие Рима состоит именно в том, что он сумел сделать политику и право частью своего культурного наследия. Таким образом Рим обессмертил себя и пережил на века

свою политическую организацию. Рим в области политико-правовой значит для человечества то же, что Греция в области искусства и философии и Израиль в области духовности.

3.

Древние не проводили чёткого различия между искусством и ремеслом. И то, и другое было для них творческим созиданием в той, или иной сфере. Определяя политику как искусство, греческий философ вводил тем самым государство в сферу эстетики. Государство становится здесь произведением искусства, или инструментом артиста. Аристотелевское требование придерживаться золотой середины в размерах государства, его населении, богатстве граждан и прочем, близко к чисто эстетическому требованию соразмерности, предъявляемому к произведению искусства. Для древнего грека искусство есть подражание природе. Сама же природа даёт нам образец целесообразности. Произведение природы прекрасно, поскольку оно соответствует своей цели. Отсюда гениальное прозрение Аристотеля, который в отличие от предшественников, счёл необходимым определить сначала естественную цель государства, а затем — найти самую соразмерную форму, которая бы сделала государство целесообразным. «Политика» Аристотеля в каком то смысле — эстетика государства. Это эстетика, в которой чувство формы не сводится к формализму, ввиду неизменного требования целесообразности.

4.

Эстетическое начало вообще занимает важное место в аристотелевском учении о государстве. Критикуя Платона, он видит в его государстве простой унисон, стремящийся занять место сложной гармонии. У Аристотеля государство подобно аккорду. Гармония музыкального созвучия заключается в правильном сочетании различных звуков. Государственная гармония состоит в верном сочетании разнородных элементов. Помимо всего прочего, отличие государственного мужа от главы семейства состоит в необходимости овладения искусством такого сочетания. Государственный муж должен обладать внутренним чувством целесообразности, которое ему необходимо подобно тому, как музыканту необходим музыкальный слух. Государственный муж — творец, в то время, как глава семейства — просто правитель. Первый творит, второй — направляет. Патернализм чужд такому пониманию государства. Он нормален для древнего Востока, где задача правителя не творчество, а охранение. Там власть — ветер, перед которым наклоняется трава (Конфуций). Там она подобна умению пасти лошадей (Чжуан-цзы). Платон, определивший государственное искусство, как «мягкое попечение о человеческом стаде», был близок к тому, чтобы отойти от античного эстетизма в сторону восточного патернализма. Отсюда его «унисоны». Однако античный эстетизм и в нем не угас до конца. Политик у него подобен ткачу; с помощью государства — этого громадного ткацкого станка — он искусством «царственного плетения» приводит в гармоническое единство разнородные элементы. Здесь государство из произведения искусства становится инструментом, но его эстетическое значение не устраняется. В этом же контексте можно рассматривать и рассуждения философа о роли мудрецов в управлении государством. Рассуждения эти, кстати, не были откровением для своего времени. И Гераклит, и Демокрит, и Эпикур были уже приверженцами политического аристократизма. Причём очевидно, что аристократизм, и в политике, и в искусстве, по большому счёту, не нуждается в особом обосновании. Достаточно однажды услышать оркестр под управлением великого дирижёра, чтобы раз и навсегда убедиться в том, что «правлять должны лучшие». Феллини был гениален в своей «Репетиции оркестра», когда показал в виде взбунтовавшегося оркестра современное общество, возжелавшее плюрализма. Платоновский мудрец вправе управлять государством, потому что он созерцает своим внутренним взором образец этого государства. Но это относится и к любому артисту. Дирижёр управляет оркестром потому что он знает общий план всего произведения, всю партитуру, в то время как музыканты знают только свою партию. Да, есть оркестры, которые обходятся без

дирижёра. Но это своего рода фикция. В этом случае каждый музыкант анализирует партитуру в целом. То есть — каждый становится дирижёром. Но, как известно, такого рода оркестрам недоступны масштабные и сложные по составу сочинения. Подобно тому, демократия в принципе возможная в небольшом государстве, не ставящем перед собой громадных задач, принципиально немыслима в обширной державе, обладающей серьёзными геополитическими амбициями. Вдобавок, если все музыканты оркестра — профессионалы, то не все граждане способны «анализировать партитуру». Творит только тот, кто имеет перед своим внутренним взором замысел творения. Кто вправе написать «Дон Кихота»? Тот, кто внутренним взором уже созерцает образец книги. Другое дело, что платоновский мудрец — художник-консерватор, отрицающий новое и убеждённый в окончательности своей эстетики.

5.

Государство прошлого не было государством бюрократическим в той степени, как государство сегодняшнее. Оно было «говорящим» больше, чем «пишущим». Для него был важен гул народного собрания, крики негодования и возгласы одобрения. Оратор был неотъемлемым элементом политической жизни. Законы и указы оглашались, а не «публиковались». Суды были торжественными, а приговоры приводились в исполнение публично, помпезно, в соответствующем эстетическом оформлении. Война торжественно объявлялась, а войска торжественно отправлялись в поход. Они возвращались с публичным триумфом, или со всенародными сетованиями. Мир заключался с ликованием. Это было государство-действие, которому был присущ элемент театральности. Полис, как Шекспир или Мольер, не только писал драмы, но и желал играть в них — на украшенных подмостках истории. Крах Платона был связан с его желанием заменить государство-действие государством-драматургом. И это в лучшем случае. Платоновское государство, отказываясь быть действием, разрешает действие гражданам, но только в меру своих собственных интересов. У Аристотеля действие обретает классическую форму. Его элементы государственной власти — как необходимые амплуа в театре. А формы государства подобны набору жанров. Эстетическое чувство, создавшее классицизм греческого театра, требовало классицизма в политике. Однако теоретик этого классицизма явился слишком поздно — накануне катастрофы, разрушившей все здание.

Современное государство есть государство «пишущее». Оно желает быть подобным своей же писаной конституции, стараясь подражать ей в окаменелости писаного слова. Это не государство-действие, а государство-алгоритм. Все торжественные атрибуты и обряды, имеющие в нем место — не более чем пережитки старого государства. Они не следуют необходимым образом из коллективных эстетических запросов. Они, скорее, мешают действию алгоритма, и стремятся к максимальному упрощению. Отмена публичной казни связана не только с гуманизацией юстиции, но и с её эстетическим упрощением. Одна из причин «зрительского успеха», который имел Третий Рейх, состоит в попытке возрождения государства-действия. Политический эстетизм был одним из важнейших факторов, обеспечивших триумф нацизма. Однако эта попытка была обречена на провал. Эстетическим действием Третий Рейх был только внешне. По существу, это государство было даже в большей степени алгоритмичным, чем большинство современных ему государств. Эта искусственность политического эстетизма постепенно делалась бы очевидной, и он стал бы менее привлекательным, даже при более благоприятном для нацистов развитии исторических событий. Этот эстетизм был обречён, поскольку в его основе не лежал эстетический аристократизм. Принципиальный антиинтеллектуализм, вообще свойственный идеологии Третьего Рейха, рано или поздно сыграл бы свою роковую роль. Возведённые в эстетическую норму вкусы обывателя не могут сохранять свою привлекательность бесконечно долго. Попытка связать плебейство в эстетике с высшими достижениями национальной культуры прошлого сорвалась и в Третьем Рейхе, и в Советском Союзе, и в Китае. Она обречена на провал и в будущем. Политический эстетизм будет живым только там, где

он будет отражать само существо политической организации. Как это и было в старом добром государстве-действе, и, в частности — в эллинском полисе.

6.

Искусство многим обязано истории вообще и политической истории — в частности. Ценность произведения искусства такова, что это воздействие на него политических событий происходит «по ту сторону добра и зла». Трагедии 1812 года мы обязаны появлением «Войны и мира». Вторая мировая война означала не только разрушение памятников культуры и искусства. Без ужасов войны не было бы ни Седьмой симфонии Шостаковича, ни «Герники» Пикассо. Невозможно вообразить себе искусство двадцатого века без того, чем отреагировали художники на ужасы войны. Опричнина подарила нам две великолепные оперы Римского-Корсакова. Варфоломеевская ночь вдохновила Мериме. Что до благодеяний государства, то они редко вдохновляют художника на подлинные откровения. Освобождение крестьян в 1861 году никем не было воспето с тем же вдохновением, как были заклеены предшествующие ему мучения крепостных. Шостакович не смог написать Симфонию Победы, которая стала бы рядом с Седьмой и Восьмой. Успехи государства способны вдохновлять только лизоблюдов и конъюнктурщиков, которые в принципе не могут сотворить ничего достойного пережить века. Чтобы быть музой, Политика должна быть чудовищем.

7.

Эстетические мелочи важны для больших исторических событий. Если бы Наполеона Бонапарта звали Ксавье Людюк, если бы он не носил треуголки, если бы Джугашвили вместо «Сталин» выбрал бы псевдоним «Чугунов», история сложилась бы иначе. Если бы Ульянов стал не Лениным в честь Лены, а Каминым в честь Камы, мавзолеев бы не построили: КАМИН на Красной Площади не нужен. Один остро слов сказал: Владимир Владимирович Пукин никогда бы не стал президентом...

8.

Мультикультурность — миф, придуманный на Западе. Создание этого мифа преследовало исключительно политическую цель: оправдать импорт избирателей, успокоить коренное население западных стран, приходящее в ужас при виде наплыва миллионов иммигрантов, которые не имеют ни малейшего уважения к национальной культуре новой Родины. Но эта пресловутая мультикультурность невозможна на Западе, где иммигранты, по сути дела, остаются в рамках культуры страны своего происхождения. Построение единой многонациональной культуры оказалось невозможным делом в Советском Союзе и оказывается очень затруднительным в современной России. А ведь здесь речь идёт о народах, которые связаны тысячелетним совместным проживанием. Можно было в своё время много болтать о «советской музыке». Но Кара-Караев был все же азербайджанским композитором, а Свиридов — русским. Прогрессисты могут привести в качестве примера мультикультурного образования Северную Америку. Но эта мультикультурность порочна в своей основе: китайцы и англосаксы остаются и там самими собой. Вершины американской культуры — Драйзер, Мелвилл, Айвз — это достояние достаточно узкого круга интеллектуальной элиты. Общность культуры достигнута только на уровне поп-культуры. Те же тенденции наблюдаются и в России, и в Европе. Можно сделать вывод: если культура не мононациональна, она не может достичь высокого уровня. Многонациональная культура может быть только условным понятием, под которым подразумевается исключительно совокупность национальных культур. Если многонациональная культура стремится к единству, то такое единство возможно только через вульгаризацию, через понижение общего культурного уровня. Гомогенная многонациональная культура может быть только поп-культурой.

9.

Опасность современной культурной политики на Западе состоит в стремлении нивелировать культурные различия. Поскольку в капиталистическом обществе культура не может не быть товаром, последствия экономической глобализации должны рано или поздно распространиться и на неё. Однако глобализация — дело опасное. Те кто видит в ней прогресс, заблуждаются. Разнообразие — всегда важнейший признак прогрессивного развития. Эволюция живой природы шла от однообразных простейших к разнообразию форм. От простоты к многообразию развивались и формы искусства. Само человечество знало ту же логику в своём развитии. Там, где были только греки и римляне, теперь многообразие Европы. Разнообразие наций, рас, языков, религий, культур — неизбежный результат человеческой эволюции. Упрощение, нивелирование, глобализация — процесс регрессивный по своему внутреннему смыслу! Разнообразие национальной кулинарии подарило миру шедевры кулинарного искусства. А что в этой сфере подарил человечеству век глобализации? Только Макдональдс и Колу! Стандартизация необходима только там, где она предназначена преодолеть хаос, и не более того. С этой целью существует, например, право, стандартизирующее человеческие отношения. Для борьбы с хаосом право может определить, что покупатель должен заплатить деньги, а продавец — передать товар. Но когда право определяет, что покупатель должен заплатить евро за полученный от продавца гамбургер с колой и не иначе — это уже слишком! Глобализация происходит от крайностей утопизма, мечтавшего о мононациональной Земле и универсальном языке. Что сказали бы, если бы кинология стремилась к сведению всех собачьих пород к одной, и объявила бы это верхом прогрессизма?!..

Диалектика политической моды (2008 г.)

Моду, на наш взгляд, составляет то, эстетическая ценность чего признаётся очевидной, исходя из нерerefлексивного общественного признания. Мода либо возникает стихийно, либо исходит из кругов, пользующихся по тому или иному основанию общественным доверием, или привлекающих к себе общественный интерес. В этом нерerefлексивном признании эстетической ценности объекта моды принципиальное значение имеет, прежде всего, определённая наивность публики, предполагающей безошибочным вкус и мнение авторитетных кругов, а также — её определённая эстетическая пассивность, в силу которой она отказывается от самостоятельного эстетического выбора, передавая авторитетным кругам право осуществлять этот выбор.

Никакое доверие, и никакой интерес не способны сделать объектом моды что-либо, эстетически абсолютно непривлекательное. При всей наивности и пассивности публики есть определённые эстетические ограничения, выход за рамки которых не оправдывается никаким уровнем общественного доверия и внимания.

Практическая ценность не создаёт моды, поскольку она основывается на рациональном обосновании полезности, а рациональное противоречит принципу моды. Если позволить себе некоторую грубость в терминологии, рациональное принимается, а модное — подхватывается.

Попытка публично оспорить эстетическую ценность того, что составляет моду, не приводит к осмысленному ниспровержению моды. Оспорить ценность объекта моды возможно только рациональным путём, а, как говорилось выше, мода отрицает рациональное.

Ниспровержение моды возможно только в связи с появлением новой моды, более эстетически привлекательной, или исходящей из сфер пользующихся большим общественным доверием, или привлекающих к себе больший общественный интерес.

Как и любая мода, политическая мода немыслима вне аспекта эстетической привлекательности. Эстетически непривлекательная политическая идея не может сделаться объектом моды.

При этом эстетическое начало может проявляться парадоксально: например, «модная болезнь». Критерии эстетически привлекательного и непривлекательного могут действовать по разным векторам. Сама модная болезнь может быть отвратительной, но страдание от неё, или смерть в её результате могут положительно воздействовать на эстетическое чувство. Это демонстрация неприменимости рациональных критериев полезного и практически ценного к принципу моды.

Отличие политической моды от прочих видов моды связано с возможностью её сознательного навязывания в стратегических целях определёнными общественными кругами. Причём цели эти — чисто политические, выходящие за рамки чистой эстетики. Прочие же виды моды могут навязываться из иных — неполитических соображений, не носящих, в любом случае, стратегического характера. Специфичны и способы навязывания политической моды.

Вместе с тем, в общих чертах, политическая мода в этом ключе навязывается по тем же закономерностям, как и любая: не то повторяемо, что модно, а модно то, что повторяемо.

Особенность политической моды: она распространяется не на наличное явление, а, как правило, на идею, причём публике в большинстве случаев безразлично, насколько эта идея способна обрести своё наличное бытие. Важен сам момент её эстетической привлекательности в глазах общественности. Здесь, вроде бы, есть повод усомниться в значении эстетического начала. Можно, к примеру, сказать, что политическая идея становится модной в силу нравственной привлекательности. Однако, это — заблуждение. Сфера нравственности — сфера осознанного, рационального выбора. Нравственный выбор поэтому противоречит самому принципу моды. Нравственно привлекательная политическая идея есть не объект

моды, а результат сознательного, рационального перенесения в сферу политической идеологии общепризнанных моральных ценностей. Это результат коллективного выбора, в котором, как раз проявляется мыслительная активность масс, в то время как мода, наоборот, есть следствие пассивности и отказа от самостоятельного выбора предпочтений.

Вместе с тем, поскольку объект политической моды фактически становится достоянием действующей человеческой массы, его переход из идеи в явление принципиально возможен, признание чего важно для наших последующих рассуждений.

Особенность всякой моды: любой, кто безраздельно разделяет моду, одновременно сознаёт её временность и заранее готов подчиниться требованию будущей моды. Это происходит из жизненного опыта, который фиксировал неоднократные смены моды и предсказывает такие же смены в будущем. Это же подсказывается и осознанием возможности появления более высоких с точки зрения общественного доверия или общественного интереса источников моды. Это распространяется и на моду вообще, и на политическую моду.

Вследствие этого, сам принцип моды всегда главенствует над её объектом: утверждение объекта моды является одновременно отрицанием этого объекта, исходя из неизбежности предложения нового объекта моды в будущем. Причём объект моды и утверждается и отрицается самим её принципом.

Мода вообще и политическая мода, в частности, таким образом, предельно диалектичны.

Мода неотделима от конъюнктуры, поскольку её готовы разделить и те, кто фактически сомневаются в её эстетической ценности. Моду можно принимать исходя из различных соображений, в том числе и исходя из соображений практической полезности конъюнктурной позиции, но из этого не следует, что принцип практической полезности распространяется на сам объект моды, поэтому, рассматривая подобного рода ситуации, не следует смешивать различные начала.

В этом смысле политическая мода сверхпоказательна, ибо политика — сфера гораздо более склонная к конъюнктуре, чем сфера чистой эстетики. Иногда следование политической моде остро становится вопросом благосостояния, условием карьерного роста, а порой и условием сохранения жизни и свободы.

Но эта конъюнктурность снижает диалектичность. В сфере политики принцип конъюнктуры вытекает исключительно из рационального принципа практической пользы, противоречащего чистому принципу моды. При том, что практическая полезность не становится критерием самого объекта моды, прагматический выбор объекта противоречит той пассивности выбора, который лежит в основе принципа моды.

Второе основание понижения уровня диалектичности — направленность объекта политической моды (который представляет собой идею, принципиально способную реализоваться в явлении) на будущее. И эта направленность, в каком то смысле отрицает будущий объект моды, принципиально утверждаемый самим принципом моды, как нечто, в обязательном порядке должное прийти на смену нынешнему объекту.

Однако в этой направленности в будущее идеальный объект политической моды утверждает себя, и в этом утверждении вновь обретает диалектичность. Почему? Высшей ступенью утверждения идеи, являющейся объектом политической моды, претяёт воплощение идеи в явление, однако явление, теряя идеальный характер, перестаёт быть объектом политической моды и, таким образом, отрицает себя в данном качестве.

При этом переход идеи в явление, отрицающий объект моды, как нечто идеальное, является утверждением самого принципа моды, поскольку реализация идеи создаёт необходимость выдвижения авторитетными кругами новой идеи, направленной на реализацию в будущем, — идеи, которую публика должна будет принять, как новый объект политической моды.

Причём публика охотнее примет эту идею, если она исходила из тех же кругов, которые предложили предыдущую идею, воплотившуюся в явлении. И здесь вновь возникает диалектическое отношение.

Воплощение идеи, бывшей объектом моды, может принести очевидную общественную пользу. В этом случае, авторитетный круг, от которого исходила данная идея, повышает свой авторитет в качестве потенциального источника новых объектов политической моды. Однако и в том случае, когда воплощение идеи не принесло пользы, или принесло вред, сама по себе способность выдвинуть идею, которая оказалась осуществимой, может способствовать сохранению авторитета. Учитывая же, что в области политической моды большое значение имеют эстетические предпочтения, публика может констатировать, что, несмотря на неудачное воплощение в явлении, сама идея была прекрасной.

Однако в случае практического провала политической идеи, источником нового объекта политической моды с лёгкостью могут стать те круги, которые выступали с её критикой.

Таким образом, политическая мода предстаёт как явление глубоко диалектическое, которое как таковое подчиняется определённым закономерностям, но и является совершенно непредсказуемым на конкретных стадиях своего развития.

Rechtstlehre Канта: идеология правового невежества (2008 г.)

В общении с коллегами столкнулся с вопросом о возможности построения современной правовой идеологии на основе учений Канта и Гегеля. Ограничимся здесь только правовой теорией Канта. Причём рассмотрим её с точки зрения качества, поскольку, если уж ставится вопрос о выборе правовой идеологии, нужно, прежде всего, поинтересоваться качеством того, что предлагается положить в её основу.

Не подлежит сомнению, что Кант был одним из величайших умов человечества. Его значение в истории философии неоспоримо. Невозможно ставить под сомнение его заслуги в области теории познания, морали, значение его гениальных прозрений в астрономии и прочих областях знания. Однако позволительно задать вопрос: были ли настолько же велики заслуги Канта в области учений о праве и государстве?

Первое, что необходимо заметить. Наука о праве требует от мыслителя некоторых специальных знаний, а попытка построения правовой концепции требует знаний глубоких и основательных. Существуют некоторые области нашего знания, где одного только высокого ума недостаточно для того, чтобы достичь значимых результатов. Возьмите самого замечательного интеллектуала и предложите ему провести операцию на мозге. Очевидно, что без глубокого знания нейрохирургии его интеллект окажется бессильным перед этой задачей. Как ни печально, но именно в таком положении оказался и Кант. Исследователи указывают на то, что кантовский багаж правовых знаний был очень невелик. В его арсенале были только гимназические учебники по римскому праву и философии права. Эта незначительная доля правовых знаний, помноженная на претензии создания правовой концепции на основе собственной методологии, которая представлялась Канту универсальной, привела к созданию странного и невразумительного правового учения, которое может быть интересным как образец интеллектуального упражнения, но совершенно не пригодно, ни в качестве идеологии, ни в качестве руководства для практики. Недостаточность правовых знаний Канта ещё не очень заметна, когда он пускается в рассуждения общего характера, но, чем больше он углубляется в частности, чем подробней анализирует конкретные институты и конструкции, тем очевидней становится для читателя искусственность его чрезмерно субъективных построений.

Впрочем, уже на уровне общетеоретических рассуждений мы встречаемся с весьма невразумительными конструкциями. Кант определяет право, как «совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы». По существу, эта эффектная дефиниция может быть сокращена без нарушения её смысла. Под правом здесь понимается система, определяющая границы внешней свободы индивида в обществе. То есть, право понимается как мера свободы, и для эпохи Нового времени в этой дефиниции нет существенно ничего нового. Здесь мы видим развитие традиции, представители которой отказались от понимания права, как меры справедливости в пользу его понимания, как меры свободы — традиции весьма спорной, ибо право, очевидно, устанавливает не произвольную, а справедливую меру свободы и это требует возвращения к категории справедливости. Но Кант не замечает этого затруднения. Не зря его рассуждения о справедливости, применительно к праву, чрезвычайно лаконичны и не носят концептуального характера.

Знаменательно и то, что Кант довольно быстро переводит рассуждения в сферу субъективного права (опять же, по существу понимаемого как мера свободы) и дальнейшее развитие его правового учения происходит именно в контексте субъективного смысла понятия права.

Курьёзным с точки зрения научной корректности следует считать раздел об общем делеении правовых обязанностей, которое, согласно Канту, «можно совершить по Ульпиану». Здесь, как известно, выводятся три формулы:

— *Honeste vive* — «Будь человеком, действующим по праву»,
— *Neminem laede* — «Не поступай с кем-либо не по праву»
— *Suum cuique tribue* — «Вступай... в такое сообщество..., в котором каждому может быть сохранено свое»

Как видим, Кант использует те формулы, которые Ульпиан предлагал в качестве основных предписаний права. Кант же рассматривает их в качестве основания для деления «основных правовых обязанностей». Это — первое искажение. Индикативное наклонение, использованное Ульпианом (*vivere, laedere, tribuere*) Кант искусственно переводит в императивное (*vive, laede, tribue*), никак не обосновывая корректности такого хода. Это — второе искажение. Далее, Кант придаёт этим формулам смысл, бесконечно далёкий от их буквального значения («Жить честно», «Никогда не лгать», «Воздавать каждому своё»). Это — третье искажение. Кант, правда, заявляет, что он придаёт формулам Ульпиана «смысл, который он вряд ли отчётливо мог представлять себе, но который они, тем не менее, дают возможность из них вывести, или в них вложить». Конечно, такие вольности объяснимы. Однако мы по этому поводу вправе задать ряд вопросов. Почему использованы формулы именно Ульпиана, а не Павла, или, скажем, Модестина? Что, если бы Ульпиан предложил не три, а две, или четыре заповеди? Что, если бы труды Ульпиана не дошли до потомков? Как бы тогда выглядело кантовское «общее деление правовых обязанностей»? И каково соотношение между научной истиной и терминологической эквилибристикой? Впрочем, очевидно, что здесь у Канта проявляются симптомы общей почти для всех авторов Нового времени «болезни объективизации субъективного».

Далее мы снова встречаемся с рядом невразумительных положений. Уже деление прав на врождённые и приобретённые довольно спорно с точки зрения классической европейской юриспруденции. Если внимательно ознакомиться с этой частью рассуждений Канта, станет очевидно, что к приобретённым правам он относит имущественные права, а к врождённым — личные неимущественные права, вытекающие из природжённой свободы. Хотя здравый смысл подсказывает нам, что возможно, как приобретение неимущественных прав, так и возникновение имущественных прав по факту рождения. Ситуация могла бы быть прояснена, если бы Кант уделил хотя бы сколько-нибудь значительное внимание учению о правосубъектности, но эта важнейшая, необходимая для учения о праве проблема совершенно ускользнула от него.

Далее Кант делит право на частное (относящееся к приобретению внешних предметов) и публичное (охраняющее приобретённое с помощью позитивных законов). Здесь мы также видим некоторое недоразумение. Прежде всего, при таком понимании соотношения частного и публичного права, остаётся совершенно неясной природа «врождённых» прав. Они не могут быть относимы к частному праву, поскольку не относятся к «внешним предметам», но они не относятся и к публичному праву, поскольку сами по себе не «охраняют приобретённого». Причиной этого недоразумения является слабость представлений Канта об объекте права вообще. Кант в принципе не развивает учения об объектах права, слабо представляет их правовую классификацию. А ведь без этого построение качественного правового учения с претензиями на ревизию цивилистики в принципе невозможно! Не менее спорно и фактическое отождествление Кантом пары понятий «частное право — публичное право» с парой понятий «естественное право — позитивное право».

Слабость кантовских представлений об объектах права непосредственно отражается на делении им частного права. В основу этого деления он кладёт именно довольно спорную классификацию возможных «предметов произвола». Если таким предметом является вещь, речь идёт о вещном праве. Если таким предметом являются действия другого лица, речь идёт о личном праве. Если же предмет нашего произвола выступает другое лицо в определённом к нам отношении, речь идёт о «вещно-личном» праве. Здесь очевидно уже то, что кантовской классификацией «предметов произвола» не охватываются все возможные разновидности объектов права. И уж если объект права становится основанием для деления права (что само по

себе сомнительно), то «разделов» частного права должно быть значительно больше, чем Кант себе это представляет.

Подробности, которые Кант излагает применительно к выделенным разделам частного права также весьма неубедительны. Вся система вещного права базируется у него на неоправданно упрощённой концепции частной собственности. Да и сама теория возникновения права собственности представляется весьма искусственной. Более того, невразумительно кантовское основание различие лица и вещи. Лицо понимается, как субъект, которому могут быть вменены его поступки, вещи же ничто не может быть вменено. Вместе с тем, любой студент вспомнит о стабильно невменяемых лицах, которые остаются лицами, хотя им ничто не может быть вменено, и о рабах, бывших вещами, хотя им и могли вменяться преступления.

Не меньше проблем с учением о личном праве. Кант занимает в этом разделе изначально ошибочную позицию, согласно которой договор является единственным возможным основанием возникновения права на действия другого лица (что, как мы увидим позже, собственно и приводит мыслителя к выделению совершенно искусственного понятия «вещно-личного» права). Очевидно, что данное положение обусловлено не соображениями философского характера, а только тем, что Кант, похоже, не имел ни малейшего представления об обязательствах, возникающих помимо договора. Ему не были известны ни обязательства *ex delicto*, ни обязательства *quasi ex delicto*, ни обязательства, вытекающие из положения сторон. Само по себе это полностью разрушает кантовское учение об обязательственном (личном) праве. Однако не менее разрушительно для концепции в целом и само кантовское понимание договора, сводящее его исключительно к согласованию индивидуальных волей. В этом видится, опять же, недостаток правовых знаний и весьма поверхностное представление о самом существе договора. Ясно, что договор есть не просто соглашение волей, но соглашение, осуществлённое по поводу отношений, относящихся к определённой сфере, соглашение, надлежащим образом оформленное и соответствующее закону. Однако эти необходимые признаки Кантом игнорируются. В результате, кантовское определение договора неоправданно шире, чем того требует юридический подход к проблеме. Оно не даёт возможности различения понятий договора и сделки. Оно не оставляет места таким необходимым понятиям, как «многосторонний договор», «односторонняя сделка», и некоторым другим понятиям, без которых построение учения об обязательственном праве становится невозможным. Из такого дилетантского представления о договоре вытекает и кантовская классификация договоров, не выдерживающая элементарной критики.

Наконец, совершенно искусственными представляются рассуждения Канта о «вещно-личном праве», состоящем в возможности владеть внешним предметом, как вещью, и пользоваться им, как лицом. Не вникая во все курьёзные по-существу положения, связанные с кантовским пониманием брака, родительских прав и господского права, укажем здесь на главное. По существу, все отношения, рассматриваемые Кантом в данном разделе, сводятся к набору взаимных прав на чужие действия. Следовательно, как таковые, они могли бы быть отнесены к сфере «личного» права, и такое отнесение было бы вполне логичным. Однако это очевидное решение оказалось для Канта невозможным именно в силу его вышеупомянутой ошибки, из-за которой он не видел иных оснований возникновения обязанностей в отношении других лиц, нежели договор. Если бы Кант сознавал тот факт, что обязанности могут вытекать непосредственно из положения лиц в отношении друг к другу, то само понятие «вещно-личного» права оказалось бы излишним. Однако, Кант, сознавая специфику анализируемых отношений, ошибочно понял её, как вытекающую из личной принадлежности одних лиц другим. Из этой ошибки последовала абсурдная идея личной виндикации, послужившая Канту ложным основанием для выделения брачных, родительских и господских отношений в особый раздел частного права. Кант, правда, делал оговорку о том, что данные отношения возникают не на основе самовольного действия, или просто договора, но на основе закона. Однако, по двум основаниям, эта оговорка представляется несостоятельной. Во-первых, ни одно договорное правоот-

ношение не возникает только на основе договора, а всегда ещё и на основе закона, или иного обязательного источника права. Во-вторых, брачные, родительские и господские отношения существовали и фактически имели двусторонне обязывающий характер с незапамятных времён — когда закон не существовал ещё как социальное явление.

Что касается публично-правовых изысканий Канта, то этой части его рассуждений нам придётся уделить гораздо меньше внимания, чем его пониманию частного права. Дело в том, что Кант фактически подменяет учение о публичном праве, как таковом, учением о государстве.

Прежде всего, кажется не вполне удачным само определение публичного права, предложенное мыслителем. Кант, как известно, понимает под публичным правом «совокупность законов, нуждающихся в обнародовании для того, чтобы создать правовое состояние». Прежде всего, обращает на себя внимание, что в этом определении недостаточно качественно подчёркивается специфика публичного права, так как очевидно, что и опубликование частных правовых законов способствует поддержанию правового состояния. Однако, по существу следует заметить, что для того, чтобы опубликование законов было возможным в принципе, ему уже должно предшествовать наличное правовое состояние. О прочем мы распространяться не будем. Канта часто критиковали за его определение государства (которое Б. Н. Чичерин, например, считал одновременно и слишком широким и слишком узким), за демагогический характер положений, касающийся свойств гражданина и гражданских свобод. Известно и то, что пресловутый кантовский либерализм, в конечном счёте, сводится к очередной вариации государственного тоталитаризма, известной до него в редакциях Гоббса и Руссо.

Заключая наши рассуждения, мы настаиваем на нежелательности построения современной правовой идеологии на основе кантовского правового учения — конструкции совершенно искусственной, в основе которой лежат крайний субъективизм и плохое знание правовой материи. Сама история показала нам слабость правовых школ, созданных в рамках неокантианства. Ни концепция Штаммлера, ни неокантианское направление обновлённого естественного права, при всём вызванном ими общественном интересе, не смогли стать подлинно действенными правовыми идеологиями. Успех неокантианца Кельзена в данном случае не должен приниматься в расчёт, поскольку его учение явилось не правовой идеологией, а качественным очерком правовой догматики и юридической техники. Вдобавок, Кельзен использовал, главным образом, методологию Канта, элементы его гносеологии, но не частности его правовой концепции.

Да и сама постановка вопроса о необходимости построения современной правовой идеологии на основе учения Канта несколько настораживает. В ней явно чувствуется ностальгия по интеллектуальному авторитету, по трудам классиков очередного «...изма», ссылка на которые избавляла бы от необходимости аргументировать собственные рассуждения. Мы убеждены в том, что правовая идеология должна основываться на реалиях сегодняшнего дня, а не на попытках искусственно «привязать» к этим реалиям какую-нибудь концепцию дня позавчерашнего, насколько бы блестящим не был интеллект, её создавший.

Постсоветская бюрократия как зазеркалье советской бюрократии (2008 г.)

Появление постсоветской бюрократии было отличным от появления бюрократии советской. Та появилась в результате Октябрьской революции и заменила собой старую бюрократию (если не считать относительно небольшого числа совершенно необходимых старых специалистов). В случае с «нашей» бюрократией, кадровой ломки не наблюдалось. Утром 22 августа 1991 года советские бюрократы неожиданно для самих себя стали постсоветскими.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.